

ОСТАП ВИШНЯ

Вот так
в тишину



ОСТАП ВИШНЯ

Вот так в тишину

ОСТАП ВИШНЯ

*Вот так
и пишу*

Рассказы,
фельетоны,
юморески

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1984

Перевод с украинского

Вступительная статья
Ф. Макивчука

Иллюстрации
Ю. Копылова

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ОСТАПА ВИШНИ *

Поздней осенью 1889 года на хуторе Чечва, Зиньковского уезда, Полтавской губернии, родился мальчик Павлуша. Его отец Михайло Губенко, бывший солдат царской армии, служил в доме помещика фон Ротта.

Кроме Павлуши, в семье было еще шестнадцать детей. Отцу и матери приходилось часто раздумывать над вековым и нелегким семейным вопросом: как свести концы с концами, как устроить ребят в школу, чтобы дать им образование и «вывести в люди».

Но в те времена, когда начинал свою школьную науку будущий писатель Павел Губенко, школ было мало и детворы оставалось вне школы намного больше, нежели училось. Считалось большой удачей, счастьем, если детям крестьян удавалось получить хотя бы начальное образование. Это счастье выпало и на долю маленького Павлуши.

В рассказе «Моя автобиография», написанном в двадцатых годах, писатель вспоминает:

«Отдали меня в школу рано. Не было, наверное, мне и шести лет. Окончил школу. Пришел домой, а отец и говорит:

— Мало ты учился. Надо еще куда-нибудь отдать. Повезу в Зиньков, поучись еще там, посмотрим, что из тебя выйдет.

Повез отец меня в Зиньков, хоть и трудно ему было тогда, потому что нас уже было шестеро или семеро, а зарабатывал он не шибко. Однако повез и отдал в Зиньковскую городскую двухлетнюю школу.

Зиньковскую школу я закончил в 1903 году со свидетельством, что имею право быть почтово-телеграфным чиновником какого-то очень высокого (чуть ли не четырнадцатого) разряда.

Но куда мне в те чиновники, если «мне тринадцать минуло».

Приехал домой.

* Текст вступительной статьи печатается с сокращениями по изданию: Остап Вишня. Избранные произведения в 3-х тт. М., Правда, 1967.

— Рано ты,— говорит отец,— закончил науку. Куда же тебя, если ты еще такой маленький? Придется еще поучиться, а у меня и без тебя уже двенадцать.

И повезла меня мать в самый Киев, в военно-фельдшерскую школу, поскольку отец, как бывший солдат, имел право отдавать детей в ту школу на «казенный кошт».

В 1907 году Павел Губенко успешно окончил военно-фельдшерскую школу и начал работать фельдшером в Киеве. По согласному свидетельству его сверстников, преподавателей школы, известных медиков того времени, молодой Губенко имел все данные для того, чтобы сделать блестящую медицинскую карьеру. У него были золотые руки и светлый ум. Однако жизнь внесла свои решительные коррективы. Фельдшер Павел Губенко прославился не в медицине, а в литературе, правда, уже под новым, придуманным именем Остапа Вишня.

Очевидно, это было неизбежное и закономерное явление. Остап Вишня—Павел Губенко был создан самой природой для юмора, для смеха—этих драгоценных черт человеческого характера, он жил для того, чтобы смеяться.

Уже в ранние годы Павел Губенко отличался чрезвычайно веселым нравом и огромной любовью к чтению. Его родная сестра Екатерина Михайловна Доценко пишет в своих воспоминаниях:

«Очень рано научившись читать, Павлуша никогда не расставался с книгой. С книгой его можно было увидеть на крыльце, на чердаке, всюду. С книгой под мышкой я часто видела его среди мальчишек-товарищей, с которыми он бегал в лес, на речку и в поля.

Очень любил Павлуша природу и все живое в ней: зверюшек, птиц. Любил поля и леса. Особенно любил голубей, и они его тоже любили. Сидит, бывало, на крыльчке и читает, а на его плече усядется любимый голубь. С голубем на плече его можно было увидеть среди хлопцев на хуторском майдане. Достаточно было Павлуше свистнуть, голубь прилетал к нему и усаживался на плечо. Мать часто говорила: «Вырастет из Павлуши добрый человек, раз его птицы так любят».

Среди множества прочитанных книг Павел Губенко, пожалуй, больше всего любил Гоголя. «Вот так, с детства и до старости с Н.В.Гоголем»,— писал в последние годы жизни Остап Вишня. При огромном пристрастии Остапа Вишни вообще к литературе и искусству творчество Н.В.Гоголя было наиболее близко ему. Он безгранично любил чудесные творения своего великого земляка, никогда не расставался с Гоголем и пронес эту светлую любовь сквозь всю свою сложную жизнь.

— Если бы не Николай Васильевич,—говорил мне когда-то Вишня,—возможно, я бы так и лекарил всю жизнь. Думается, Гоголь вывел меня на литературную дорогу.

Остап Вишня пришел в литературу сложившимся, зрелым человеком. Он взялся за перо по-настоящему, профессионально, лишь на четвертом десятке лет, но то, что успел он сделать за свой не очень долгий век, мог совершить только человек, наделенный талантом и большим чувством юмора.

Вишня начал активно печататься в 1922 году. Это были первые годы революции, первые годы становления нашего Советского государства. В своих острых, метких и всегда оперативных фельетонах Остап Вишня поднимает важнейшие вопросы общественной и политической жизни молодой Республики Советов, направляя острие убийственного смеха против организаторов и вдохновителей антисоветских походов и блоков, против петлюровских и белогвардейских недобитков, кулачества, реакционного духовенства, против всех тех, кто мечтал о реставрации капиталистических порядков в нашей стране.

Вишня превосходно видел, какое светлое будущее открыла Советская власть перед страной, где люди стали хозяевами собственной судьбы, строителями первого в мире социалистического общества. Он хорошо понимал, что, кроме явных, видимых врагов, вооруженных пушками, броневиками, винтовками и бомбами, существует еще один опасный враг — это пережитки, доставшиеся нам в наследство от старого мира.

Борьбе с этим злом Остап Вишня отдает весь свой талант, весь огромный заряд своей творческой энергии. Он убийственно высмеивает мещанство, косность, отсталость, чванство; он выводит на чистую воду бюрократов, шкурников и карьеристов, сумевших просочиться в аппарат советских и общественных организаций; клеймит голомотяпов и бездельников, очковитрателей и приспособленцев.

Писательский талант Остапа Вишни расцвел стремительно и бурно. Однако без упорного труда талант не дает богатых плодов. Работоспособность Остапа Вишни была потрясающей. В этом ему могли позавидовать наиболее работоспособные и плодотворные коллеги по перу. По собственному выражению Вишни, он работал, как «черный вол», не зная покоя и отдыха, зато полной мерой черпая в этой работе великую радость творчества. Его фельетоны, юморески, очерки, колючие заметки удивительно быстро заволаивали любовь и симпатии читателей.

Популярность и слава Вишни все время росли. Он стал любимым писателем в селе и в городе. Его книги раскупались нарасхват, его слово проложило себе дорогу в самые глухие и далекие села и хутора Украины.

Вишню переводят на русский и иностранные языки.

Чем же объясняется такая популярность, такая живучесть его творчества, любовь к его юмору?

Во-первых, могучим и редкостным талантом писателя. Во-вторых, тончайшим знанием народной жизни. Вишня знал эту жизнь не по книгам и пересказам. Нет, он сам был живой и удивительно чуткой частицей народной жизни, он сам вышел из ее глубин, и эта жизнь всегда бурлила в его произведениях.

Юморист и сатирик, Вишня отзывался на животрепещущие вопросы жизни, зачастую крепко привязанные ко времени и конкретным событиям. Поэтому в литературном наследии писателя есть множество острых произведений малых форм, отражающих реальную обстановку тех лет, становление Советской власти, нэпа, новых человеческих отношений. Большинство этих миниатюр выдержало испытание временем и осталось актуальным для нынешнего времени. Разрабатывая глубокие и насущные проблемы современности, Вишня превратил сатиру и смех в острое оружие наступающего социализма.

Второе рождение писателя произошло 26 февраля 1944 года, когда газета «Радянська Україна» напечатала блестящую юмореску Вишни «Зенитка».

Выстрел знаменитой «Зенитки» оповестил Украину, что в жизни писателя Вишни начался новый творческий взлет, искрящийся, динамичный и плодотворный.

Писатель с изумляющей жадностью кинулся в любимое дело, в творческий поиск. Он весь в работе, весь в беззаветном служении народу, партии.

В своей творческой деятельности Остап Вишня продолжает и развивает лучшие традиции русской и украинской сатирической классики, традиции Салтыкова-Щедрина и Котляревского, Гоголя и Шевченко, Чехова и Ивана Франко, традиции народного юмора. Любовь к человеку-созидателю, человеку — творцу всех материальных и духовных сокровищ мира, уничтожающая ненависть к паразитам и дармоедам, прикармливающим созданные трудом и потом человечества блага, — вот святая святых этих бессмертных традиций.

Руководящим идеалом всего творчества Остапа Вишни являются интересы народа, интересы нашего социалистического строя. Писатель направляет острие своей сатиры, убийственную силу своего смеха против пережитков прошлого в сознании людей, против врагов зарубежных и врагов доморощенных.

Перо Вишни всегда заострено, всегда в действии. Писатель смело критикует недостатки в деятельности наших учреждений и организаций, хлестко высмеивает лодырей, дармоедов, халтурщиков, беспощадно бичует бюрократов, рвачей, хапуг и туеядцев, людей без совести и чести. Вишня не знает покоя. Он сатирик оперативного плана в лучшем смысле этого слова. Сатирик действия!

Активное сотрудничество в газетах и журналах, живой и постоянный контакт с жизнью, широкая и постоянная переписка с рабселькорами и

читателями помогли Остапу Вишне ярче и глубже раскрыть свой талант, создать огромную серию фельетонов, очерков и юморесок, которые приобрели популярность не только на Украине, но и далеко за ее пределами.

Этот листок машинописи до сих пор висит около стола в рабочем кабинете Остапа Вишни. Приколотый к стене обыкновенной канцелярской кнопкой, пожелтевший от времени, он стал уже музейным экспонатом. Но был он живым манифестом, боевой программой творчества писателя, юмориста Украины, его, так сказать, «святцами».

Впервые я увидел этот листок летом 1955 года. Забежал утречком на квартиру к Остапу Вишне, чтобы договориться о воскресной поездке на рыбалку — собирались мы тогда на Жуков хутор, карпов удить, — а Павел Михайлович уже сидит в легкой пижаме у письменного стола, работает. Судя по высоченной пирамиде, кажется, еще теплых окурков «Казбека» в массивной пепельнице, рабочий день начался у него очень рано и очень интенсивно.

Закурили вдвоем, уточнили час отъезда на озеро, и я уже собрался было идти в редакцию, но вдруг попал на глаза мне этот листок машинописи, висевший на стене. Раньше я его никогда не видел. Подхожу ближе, читаю:

МОИ «ДРУЗЬЯ», БУДЬ ОНИ ТРИЖДЫ ПРОКЛЯТЫ!

<i>Бюрократы</i>	<i>Замаскированные паразиты</i>
<i>Вельможи</i>	<i>Откровенные мерзавцы</i>
<i>Перестраховщики</i>	<i>Сутяги и склочники</i>
<i>Очковтиратели</i>	<i>Халтуристики</i>
<i>Хапуги</i>	<i>Пошляки</i>
<i>Зажимщики критики</i>	<i>Хамы</i>
<i>Подхалимы</i>	<i>Рвачи</i>
<i>Взяточники</i>	<i>Ханжи</i>
<i>Спекулянты</i>	<i>Браконьеры</i>
<i>Круглосуточные болтуны</i>	<i>Грубяны</i>
<i>Дремучие дурни</i>	<i>Задаваки</i>
<i>Зазнайки</i>	<i>Алиментисты-летуны</i>

и прочие сукинны сыны и прохвосты.

О ЧЕМ Я, НЕСЧАСТНЫЙ, ДОЛЖЕН ДУМАТЬ И ПИСАТЬ:

О хулиганстве, грубости и невоспитанности.
О перевоспитании лоботрясов и шалопаев.
О легкомыслии в любви, браке и в семье.
О широких натурах за государственный счет.

*О начетчиках и талмудистах в науке.
О консерваторах в сельском хозяйстве и промышленности.
Об истребителях природы.
О всяческом, одним словом, дерьме!*
Господи, боже мой! Помоги мне!

Павел Михайлович лукаво поглядел на меня из-под очков и усмехнулся:
— Память с годами слабеет, а долг остается долгом. Вот и написал на всякий случай. Пусть висит и пусть напоминает, кто я такой и что должен делать.

Всего-навсего единственный листочек машинописи, всего-навсего одна деталь, но какая она значимая! Какая красноречивая! За этой деталью вся жизнь, отданная литературе, ее острейшему и труднейшему жанру — сатире, юмористике. В этой детали, словно в капле росы, весь Вишня, его характер, его мужество и честь, его сила, горение его большой души, таланта!

Остап Вишня всегда беспощаден и непримирим, когда пишет о нарушителях наших законов, порядков и этики. Писатель жестоко высмеивает и сурово осуждает все чуждое нам, все обветшалое и вредоносное, ибо так велит ему его литературная совесть, ибо он глубоко уважает и любит людей, скромных, честных тружеников. О них он написал за свою жизнь множество прекрасных произведений. С какой завидной сердечностью и теплотой воспевают писатель их труд, их характеры, их ратные и трудовые подвиги!

С какой мудростью раскрывает он в этих произведениях все богатство, бесконечное разнообразие тончайших оттенков юмора — этого драгоценного и неотъемлемого качества своего народа. Читаешь талантливую «Зенитку», высокопоэтические усмешки «Дедушки наши и бабушки наши», «Дед Матвей», читаешь мастерский очерк «Запорожцы» — и невольно хочется пожать руку героям этих произведений и от всей души сказать им: живите, люди добрые, долго, долго, здравствуйте вечно, украшайте жизнью своей и делами своими великими нашу Родину и весь род человеческий!

Остап Вишня — писатель широкого диапазона, писатель многогранный. В его богатом литературном наследстве мы встретим острополитические памфлеты, комедийные пьесы, боевые фельетоны, лирические «охотничьи усмешки», рассказы для детей и о детях, веселые юморески и мудрые, точно нацеленные очерки.

Остап Вишня — юморист самобытный, оригинальный и неповторимый. Он блестящий мастер диалога и комической ситуации. Его юмор глубоко национальный. Язык его произведений колоритный, поэтический и острый. Писатель всегда помнит, что главное его оружие — это живое, одухотворенное слово. Веселую юмореску, фельетон, острую сатиру невозможно написать холодным, спокойным, пусть даже вполне литературным языком. Писатель постоянно заботился, чтобы это оружие не покрылось ржавчиной. Он неутомимо шлифовал и совершенствовал свой язык.

У Вишни был какой-то удивительный языковой слух, исключительно точное чувство слова. Я всегда восхищался, наблюдая, как он читал и правил рукописи.

Любовь Вишни к родному слову никогда не старела и не угасала. Не старел и талант Вишни. До последних своих дней он был непоседливый, энергичный, деятельный. Литературный труд был для него такой же органической потребностью, как воздух, как вода и хлеб. Встречи с читателями, поездки по стране приносили Вишне много радости, творческого подъема и подлинную взволнованность. Каждую поездку в колхозы, школы, на заводы и шахты,— а эти поездки часто бывали длительными и нелегкими для его возраста,— он всегда воспринимал как добрый повод еще и еще раз побывать среди людей.

Вспоминается мне наше совместное, почти месячное путешествие по западным областям Украины летом 1953 года. Здоровье Павла Михайловича уже было серьезно подорвано, но он с радостью согласился на эту поездку. Ежедневно два, а то и три выступления перед читателями, встречи со студентами, с учителями и школьниками, а лето было жаркое и душное. Даже писатели значительно моложе Остапа Вишни порой так изматывались за день, что засыпали, не ужиная, а Павел Михайлович не подавал вида, что он устал, что ему трудно. Даже поздними вечерами в его комнате не пахло покоем и отдыхом. К нему постоянно приходили местные литераторы, артисты, просто любители его творчества, но больше всего времени он отдавал людям, которые приходили с теми или иными жалобами, приходили за помощью или советом. Эти люди искренне верили: Вишня напишет, Вишня протелеграфирует, Вишня позвонит по телефону, и все будет решено правильно, все станет на место.

Общественная деятельность, разбор всяческих жалоб и заявлений да и связанные с ними хлопоты отбирали у писателя добрую треть времени, хотя эта нелегкая работа вовсе не входила в его обязанности. Но жить иначе Вишня не мог. Такова уж была его натура, такое было у него сердце. Помочь человеку, поддержать его в беде Вишня считал своим первейшим долгом.

Остап Вишня — большой мастер политической сатиры. Можно без преувеличения сказать, что всю свою жизнь в украинской литературе он ведет беспощадный бой с империалистическими поджигателями войны, с колонизаторами, с украинскими буржуазными националистами. Вишня стреляет по ним «картечью» и «жаканами», ведет с ними рукопашный бой «доисторическим инструментом» — шахтерским обушком, громит залпами «Зенитки». Борьбу с поджигателями войны и их лакеями писатель считает своим патриотическим долгом. И это вполне естественно. Ведь советская литература и ее острейший жанр — сатира и юмор — это литература мира, литература труда, счастья и нерушимой дружбы народов. На знамени нашей литературы

начертаны простые, понятные и близкие сердцу всех добрых людей земли слова: «За мир во всем мире! За счастье всего трудового человечества!»

В политических памфлетах и фельетонах Остап Вишня вывел целую галерею вырожденцев, одичавших и обезумевших от неутолимой жажды накопления денег, стремящихся уничтожить в огне чудовищной войны миллионы людей во имя новых миллиардов сверхприбылей в бездонных сейфах Уолл-стрит и Сити. Сатирик беспощадно развенчивает антинародную сущность буржуазной демократии, растленную мораль капиталистического мира, срывает маску миролюбия с империалистических агрессоров и показывает читателю их настоящее омерзительное лицо.

Политические памфлеты и фельетоны Остапа Вишни отличаются высоким сатирическим пафосом, метким словом, оригинальностью и гражданственностью. В грани малой формы писатель умеет уложить огромное содержание, глубокую мысль, большую силу сатирического накала. Каждая его фраза, каждое слово бьют точно «в яблочко» избранной мишени.

За семь дней до смерти Павел Михайлович возвратился в Киев с Херсонщины, где он был более месяца в творческой командировке. Были у него новые планы, новые замыслы, 28 сентября 1956 года неумолимая смерть безвременно оборвала его жизнь.

Остап Вишня был чутким и удивительно скромным человеком. Он никогда не упивался своей литературной славой и огромной популярностью, всегда оставался земным, простым и доступным. Остап Вишня был влюблен в веселых, находчивых, острых на язык людей. Он мог часами слушать их рассказы, смеяться до слез. Казалось, мало кто умел так смеяться, как смеялся Остап Вишня.

Остап Вишня был и навсегда останется в первых рядах советской украинской литературы. И слово его, острое, веселое, и смех его, то язвительный и едкий, то поэтический, будет жить вечно.

Федор МАКИВЧУК

Рассказы,
фельетоны,
юморески





Моя автобиография

У меня нет никакого сомнения в том, что я родился, хотя и во время моего появления на свет белый и позже — лет, пожалуй, десять подряд — мать говорила, что меня вытащили из колодца, когда поили корову Оришку.

Произошло это событие первого ноября (старого стиля) 1889 года, в местечке Грунь Зиеньковского уезда на Полтавщине.

Собственно, событие это произошло не в самом местечке, а на хуторе Чечве около Груни, в имении помещиков фон Ротт, где мой отец работал у господ.

Условия для моего развития были подходящие. С одной стороны — колыбель на веревочках, с другой — материнская грудь. Немного пососешь, немного поспишь — и растешь себе помаленьку.

Так оно, значит, и пошло: ешь — растешь, а потом растешь — ешь.

Родители мои были, как и все родители.

Отец отца был в Лебедине сапожником. Отец матери был в Груни хлеборобом.

Более глубокой генеалогии мне проследить не довелось. Отец вообще не очень любил рассказывать о своих родичах,

а когда, бывало, спросишь у бабушки (отцовой матери) о дедушке или о прадедушке, она всегда отвечала:

— Такой стервец был, как и ты вот! Покою от него не было!

О материнской родне также знаю немного. Только то и помню, что отец частенько говорил матери:

— Не удалась ты, голубушка, в свою мать. Царство небесное покойнице: и любила выпить и умела выпить.

А вообще родители были ничего себе люди. Подходящие. За двадцать четыре года совместной их жизни послал им господь, как тогда говорили, всего только семнадцать детей, потому что они умели молиться милосердному.

Стал, значит, я расти.

— Будет писать,—сказал как-то отец, когда я, сидя на полу, размазывал рукой лужу.

Оправдалось, как видите, отцовское пророчество.

Но от правды не уйдешь,—много еще времени прошло, пока отцовское предсказание воплотилось в жизнь.

Писатель не так живет и не так растет, как обыкновенный человек.

Что обыкновенный человек? Живет, проживет, умрет.

А писатель—нет. О писателе подай, обязательно подай: что повлияло на его мировоззрение, что его окружало, что организовало его, когда он лежал у матери на руках и чмокал губами, не думая совсем о том, что когда-нибудь придется писать свою автобиографию.

А вот теперь сиди и думай, что на тебя повлияло, отчего ты стал писателем, какая нелегкая понесла тебя в литературу, когда ты стал задумываться над тем, «куда дырка деваается, когда бублик поедается».

Потому что писателями так, спроста, не становятся.

И вот, когда припоминаешь свою жизнь, то приходишь к выводу, что писателю в его жизни действительно сопутствуют явления необычайные, явления оригинальные, и если бы этих явлений не было, не был бы человек писателем, а был бы порядочным инженером, врачом или просто толковым кооператором.

Навалются эти явления—и пошел человек писать.

Главную роль в формировании будущего писателя играет природа—картофель, конопля, бурьяны.

Если у мальчика или у девочки имеется склонность к задумчивости, а вокруг растет картофель, или бурьян, или конопля,— амба! Так уже и знайте, что из ребенка вырастет писатель.

И это вполне понятно. Когда ребенок задумается и сядет на голом месте, разве ему дадут как следует подумать?

Сразу же мать вспугнет:

— И куда это он сел, сукин сын!

И вдохновение с перепугу развеялось.

Тут картофель — в самый раз.

Так было и со мной. За хатой недалеко — картофель, на грядке — конопля. Сядешь себе: ветер веет, солнце греет, картофель навеивает мысли.

И все думаешь, думаешь, думаешь... Пока мать не крикнет:

— Поди-ка, Малашка, погляди, не заснул ли там, часом, Павло? Да осторожноенько, не напугай, чтобы рубашку не замарал. Разве на них настаиваешься?!

С того оно и пошло. С того и начал задумываться. Сидишь и колупаешь перед собой ямку.

А мать, бывало, ругается:

— Что за дьявол картофель подрывает? Ну, уж если поймаю!!

Порывы чередовались. То вглубь тебя потянет,—тогда ямки колупаешь, то увлечет тебя ввысь, на простор, вверх куда-нибудь. Тогда лезешь в клуню¹ на балку воробьев гонять или на вербу за галчатами.

Конституции я с малых лет был нервной, впечатлительной: как покажет отец ремень или кнут-восьмерик — моментально под кровать и дрожу.

— Я тебе покажу балку! Я тебе покажу галчат! Если бы сразу убился, то еще ничего! А то ведь покалечишься, сукин ты сын!

А я лежу под кроватью, трепещу, носом шмыгаю и думаю печально: «Господи, чего только не приходится переживать из-за этой литературы?!»

Из событий моего раннего детства, которые повлияли (события) на мое литературное будущее, твердо врезалось в память одно: упал я с лошади. Летел верхом по полю, а собака из-за кургана как выскочит, а лошадь — в сторону! А я — шлеп! Здорово упал. Лежал, пожалуй, с час, пока оч-

¹ К л у н я — овин.

нулся... Недели три после этого хворал. И вот тогда я понял, что я для чего-то нужен, если в такой подходящий момент не убится. Неясная во мне шевельнулась тогда мысль: наверное, я для литературы нужен. Так и вышло.

Вот так, между природой, с одной стороны, и людьми — с другой, и промелькнули первые годы моего детства золотого.

Потом отдали меня в школу.

Школа была не простая, а «Министерства народного просвещения». Учил меня хороший учитель Иван Максимович, доброй души старикан, белый-белый, как бывают белыми у нас перед весенними праздниками хаты. Учил он добросовестно, так как сам был ходячей совестью людской. Он уже умер, пусть земля ему будет пухом. Любил я не только его линейку, которая ходила иногда по нашим рукам школярским, испачканным. Ходила потому, что такая тогда «система» была, и ходила она всегда, когда было нужно, и никогда не ходила яростно.

Где теперь она, эта линейка, что помогла мне выработать стиль литературный? Она первая прошлась по руке моей, по той самой руке, что пишет нынче автобиографию. А писал ли бы я вообще, если бы не было Ивана Максимовича, а у Ивана Максимовича не было линейки, которая принуждала заглядывать в книгу.

В это самое время начала формироваться и моя классовая сознательность. Я уже знал, что вот это — господа, а это — не господа. Потому что частенько, бывало, отец посылал меня с чем-то к барыне в горницу и при этом наказывал:

-- Как войдешь, сразу же поцелуешь барыне ручку.

«Великая,— думал я про себя,— значит, барыня персона, если ей ручку целовать надо».

Правда, какой-то неясной была тогда моя классовая сознательность. С одной стороны, целовал барыне ручку, а с другой — клумбы цветов ее топтал.

Чистый тебе лейборист. Между социализмом и королем вертелся, как мокрая мышь.

Но уже и тогда хорошо запомнил, что господа на свете есть.

И когда, бывало, барыня накричит за что-то, ногами затопает, тогда я залезу под господскую веранду и шепчу:

— Погоди, эксплуататорша! Я тебе покажу, как триста лет из нас и т. д. и т. д.

Отдали меня в школу рано. Не было, наверное, мне и шести лет. Окончил школу. Пришел домой, а отец и говорит:

— Мало ты учился. Надо еще куда-нибудь отдать. Повезу еще в Зиньков, поучись еще там, посмотрим, что из тебя выйдет.

Повез отец меня в Зиньков, хоть и трудно ему было тогда, потому что нас уже было шестеро или семеро, а зарабатывать он не шибко. Однако повез и отдал в Зиньковскую городскую двухлестную школу.

Зиньковскую школу я закончил в 1903 году со свидетельством, что имею право быть почтово-телеграфным чиновником какого-то очень высокого (чуть ли не четырнадцатого) разряда.

Но куда мне в те чиновники, если «мне тринадцать минуло».

Приехал домой.

— Рано ты,—говорит отец,—закончил науку. Куда же тебя, если ты еще такой маленький? Придется еще поучиться, а у меня и без тебя уже двенадцать.

И повезла меня мать в самый Киев, в военно-фельдшерскую школу, поскольку отец, как бывший солдат, имел право отдавать детей в ту школу на «казенный кошт».

Поехали мы в Киев. В Киеве я на вокзале разинул рот и так шел с вокзала через весь Киев до самой Лавры, где мы с матерью остановились. Приложились ко всем мощам, ко всем чудотворным иконам, ко всем мироточивым головам и — экзамены сдал.

И остался в Киеве. И закончил школу, и стал фельдшером.

А потом пошла неинтересная жизнь. Служил и все учился, все учился — будь оно неладно! Все экстерном.

А потом в университет поступил.

Книга, которая произвела на меня самое сильное впечатление в жизни, это «Катехизис» Филарета. До чего же противная книжка! Еще если бы так — прочитал и бросил, оно бы и ничего, а то на память.

Книги я любил сызмальства. Помню, попал мне Соломонов «Оракул». Целыми днями сидел над ним и шарик из хлеба пускал на круг с разными числами. Пускаю, пока голова кругом пойдет, пока нагрянет мать, войдет, схватит тот «Оракул» и по голове — трах! Тогда только и брошу.

Вообще любил я книжки с мягкими переплетами.

Их и рвать легче, и не так больно они бьются, если мать увидит.

Не любил «Русского паломника», который мать читала лет двадцать подряд. Очень большая книга. Как, бывало, замахнется мать, у меня душа в пятки.

А остальные книги читались ничего себе.

Писать в газетах я начал в 1919 году, за подписью Павла Груньского. Начал с фельетона.

В 1921 году начал работать в газете «Вісті» переводчиком.

Переводил я, переводил, а потом подумал:

«Чего я перевожу, если могу фельетоны писать. А потом — писателем можно стать. Вон сколько разных писателей есть, а я еще не писатель. Квалификации, думаю, у меня особенной нет, бухгалтерии не знаю, что же я, думаю, буду делать».

Сделался я Остапом Вишней да стал писать.

И пишу...

1927—1955



Вот загада!

Н

е те все-таки времена настали.

Что не те — то не те.

И погода изменилась, и люди не те.

И жизнь, можно сказать, для нашего брата хлебороба пошла такая, что и не знаешь, как дальше быть...

Менять, выходит, надо жизнь...

Как же ты ее не изменишь, когда посмотрите сами: дождей маловато, земля трескается, колос вянет, зерно сохнет...

А раз зерно вянет, а колос сохнет — чертова батька будешь лепешки есть...

Это не мы, старые люди еще так говорили...

Выходит — новые способы нужны, потому старые подкачали...

Хотя, ежели по правде вам сказать, старые те способы... Эх, и хорошие же были способы!..

Возьмите земледелие.

Сеешь... Так думаешь разве о том, как глубоко пахать и какой сеялкой сеять...

Дурак был бы я так думать...

Вышел, надел мешок на шею, перекрестился:

— Во имя отца и сына и святого духа, аминь! В добрый час!

Посеял, стал посреди нивы, поглядел на все четыре стороны, еще раз перекрестился:

— Уроди, боже, на трудящего, на ледащего, на просящего, на крадящего и на всякую долю.

И все.

Пришел домой и — к жинке:

— Уже! Давай поужинать.

И ходишь себе, по хозяйству там что-нибудь поделаешь, а она тебе и растет да растет...

И бог был как бог.

Если и не уродит на трудящего, то на ледащего, и на просящего, и на крадящего обязательно уродит...

.....

Севообороты теперь пошли...

Делят десятины на участки и высчитывают потом, где, что и когда посеять...

А прежде хорошие хозяева сами знали, где сеять нужно...

Где раньше всего загремит гром — там и сей, потому что там лучше всего уродит...

.....

Опять же засуха...

Чего только теперь не выдeldывают, чтобы от засухи избавиться! И ранние пары, и унавоживание, и бурьяны уничтожаешь, и землю разрыхляешь, и пропашные растения сеешь...

А раньше разве это делалось?..

Да никогда на свете!..

Обольешь, бывало, водой пастухов или украдешь крест с могилы висельника и бросишь его в болото и пойдет дождь.

А то запрягутся дивчата ночью в плуг, вспашут улицу, нарвут овощей, посадят в свежие борозды, возьмутся за руки и вокруг того «огорода» нового:

— Дождик, дождик, приходи!

И пошлет господь дождь.

.....

Хороши были старые способы!

Да, времена теперь не те.

Не берут они, эти способы, не помогают.

Бог испортился...

Молишь-молишь, молишь-молишь — ничего. Нету урожая...

Вот тут и задуматься нужно...

Нужно, потому что посмотришь на совхоз или на коллектив — там лучше...

И рожь лучше, и пшеница лучше, и все лучше.

Что бы оно значило?

Сказать, что богу молятся, так нет.

Выходит, что земля изменилась, новых способов требует...

С одной стороны — в коллектив идти очень все-таки не хочется, ибо, что там ни говори, а оно «коммуния»...

А с другой стороны — нужда насаждает... До того насаждает, что такими местами светишь, какими сроду не светил.

Вот тут тебе и покумекай.

Что делать, и не скажу...

Оно все-таки правда. Как-то заехал мне в ухо Пилип, а человечиче он здоровый. Один не осилю... Попросил кума, — вдвоем хорошо набили... Втроем, пожалуй, еще лучше бы набили...

Выходит, вроде коллективом лучше...

Вот задача.

.....

Между прочим — на Украине уже тысячи коллективов...

.....

Вот задача!



Так ни герца и не вышло

акое прекрасное дело, а лопнуло из-за пустяка.

И не простое дело, а дело культурно-просветительное... Хорошее дело.

Было это давненько...

Было это тогда, когда мои однолетки были еще молодыми и буйными и когда я сам был, так сказать, не совсем чернявый, а так: нестарый и радостный.

А на сцене тогда играть хотелось еще сильнее, чем остаться с дьяковой дочкой в саду под теми тремя дубами, что из одного корня растут!

Ах, как тогда на сцене хотелось играть!..

И что бы вы думали: организовались...

Вот так собрались, поговорили, обсудили и решили:

— Будем играть!

И пьесу выбрали, и в волости подходящую комнату дают, а артистов — хоть пруд пруди!

— Будем играть!

И вдруг тогда как гвоздем в спину:

— А режиссер где? Все же мы, что называется, ни папы, ни мамы в этом деле. Кроме талантов — ничегошеньки!

— Стойте, хлопцы! — Семен говорит. — В городе есть такой делопроизводитель, что на сценах играл! Он выучит...

— Катай, хлопцы, к делопроизводителю...

Поехали...

— Пять рублей, — делопроизводитель говорит, — и после спектакля ужин... Сюда и туда подвода... И чтоб слушались, матери вашей черт.

— Ладно.

— Пишите там афишу и укажите, кто режиссер...

— Хорошо, укажем!

Началось. Выписали роли... Выгучили их, как «царь небесный, утешитель».

Три афиши разрисовали, фамилии на афишах всех участников (а как же вы думали?!), а внизу:

«Режиссер Иван Степанович Леваденко».

Все, как бог приказал...

В воскресенье спектакль, а в четверг Иван Степанович приехал... Встретили его, как архиерея...

— Ну, начнем,—говорит Иван Степанович.—Афиши готовы?

— Вот!

Посмотрел Иван Степанович на афишу — и из глаз у него искры. А потом как гаркнет:

— Как?! Это меня такими буквами напечатали? Меня?! Который уже одиннадцатый год на сценах?!

И сразу аж две фиги:

— Вот! Чтобы я с вами здесь канителился?! Подводу!

— Да, Иван Степанович! — мы к нему. — Да что вы?! Да мы вас, какими хотите, напечатаем!

— Чтобы вот такими, иначе — подводу!

— Бегите,—говорю,—хлопцы, за бумагой... Склейте сколько там листов и пишите большими...

Побежал Кондрат за бумагой... Клеит...

Как вдруг артисты один за другим к Кондрату:

— И меня тоже большими!

— И меня!

— И меня!

Суфлером волостной писарь был... Пришел с квадратиком, отмерил на нем вершков так с пять:

— А меня если вот не такими, и в будку не полезу, и из волости выгоню...

— Клей,—говорю,—Кондрат, чтобы на всех хватило...

Склеил Кондрат афишу сажени на три, если не больше. Написал всех такими, как хотели. А режиссера в конце вывел такими, что аж до Куземина (семь верст!) было видно...

Готова афиша.

А куда же ее прицепить?

На колокольню батюшка не позволяет, а так — нигде не помещается.

Решили нацепить на бакалейной лавке. Достали лестницу, приставили.

— Цепляй!

Собралось все село на ту процедуру смотреть.

Полез Кондрат на лестницу, потянул афишу...

А тут кто-то дядьку Пилипа толкнул... Дядька Пилип наступил на афишу и оторвал режиссера вместе с «начало в 8 час. вечера»...

Как увидел это Иван Степанович, да как закричит:

— Подводу, матери вашей черт! Я вам покажу, как режиссера отрывать... Ре-жиссер—все!

На подводу—и в город... И ужинать не захотел...

Спектакль не состоялся...

Теперь не то... Теперь режиссеры не такие, чтобы на буквы обращали внимание...

А раньше...

А чтоб ему: дело все лопнуло.



Сотворение мира

(Научный труд. Точнее, научно-популярный)

Раньше на земле не было ничего. Собственно, не «на земле» не было ничего, а вообще нигде ничего не было... И земли не было. Пусто было всюду... Ну, не выйти тебе никуда, не выехать...

Был бог... Сам господь Саваоф... Где он был — неведомо... Однако был... Он был нигде... Тогда не было ничего, а на этом «ничего» сидел бог... Летал... Где летал — неведомо... Потому что воздуха тогда не было... Но летал, на то он и бог... А раз он бог, значит, мог летать, хотя и негде было летать... Летал-летал бог, куда ни посмотрит — темно... Черно всюду... Хотя и этого «всюду» не было, потому что не было ничего... Темно богу, хотя и темноты тогда не было, потому что темнота появилась, когда узнали свет... Пусто было, хотя и пустота появилась, когда узнали, что может быть и не пусто...

Словом, осточертело богу летать по чему-то, чего не было... Поглядеть бы, где летаешь, да нельзя, ведь и глядеть-то не на что, а глядеть хочется, хоть и хотения тогда не было. Положение безвыходное, хотя и положения тогда не было.

Посмотрел бог во все стороны, хотя и сторон тогда никаких не было...

Одним словом, как гаркнет бог:

— Да будет свет!

Это был первый день, хотя и дней тогда не было.

И стало всюду светло... Светло-светло...

Посмотрел бог — светло... А не видно ничего, потому что не на что было смотреть...

Смотрел-смотрел бог...

— Что ж,—говорит,—и дальше летать?!

Крылья болят, хотя и крыльев у него не было...

— Надо бы,—говорит,—квартиру себе найти!..

А где ее найдешь. Жилотделов тогда не было...

Эх, чтоб тебя!.. Да как гаркнет:

— Да будет небо! Да будет земля!

Как завертелось-завертелось-завертелось (хотя и вертеться нечему было)—и получилось небо... Получилась земля. Твердь!

Полетел тогда бог на небо, сел (хотя и сидеть было не на чем), погладил бороду и говорит:

— Ну, теперь дело на все сто процентов пойдет. А ну-ка,—говорит,—земля — направо, вода — налево (хотя и воды тогда не было)...

Отделил он воду от земли...

— А ну-ка,—говорит,—земля, выращивай растения разные!..

Как пошел расти бурьян, как попер из земли подорожник!..

Начали дубы, ясени, березы расти...

Растут, растут, растут. И до сих пор растут...

И солнца нет, а они растут...

— Растете? — спрашивает бог... — То-то же! Ну, не волнуйтесь — сейчас солнце будет. И месяц сейчас будет. И звезды будут.

Махнул бог рукой — и правда: засияло солнце, заблестел месяц, засверкали звезды...

Было это ночью (хотя и ночи тогда не было), а солнце светит, месяц светит, звезды светят...

Вообще такого бог натворил, что и до сих пор удивляются.

Это был уже четвертый день.

Считал сам бог, хотя и чисел тогда не было...

На пятый день встал бог, смотрит—воды сила, леса повьрастали, и хоть бы тебе одна рыбка, и хоть бы тебе одна пташка...

Эх, побей тебя сила божья!

— А ну,—говорит,—зашевелись, рыбка! А ну,—говорит,—зачирикайте, пташки!..

Минут через пять как ударила рыба, как защелкал курский соловей, «Закувала та сива зозуля», «Ой, сів пугач на могилі». «Летит галка через балку», «Кряче ворон»... Одним словом, рыба и птица пошла...

На шестой день сидит бог и думает:

«Все есть! А людей нет!.. И зверей нет! Кто же мне свечки ставить будет? Кто мне молебны служить станет?»

Махнул рукой—побежали разные зверюшки.

Потом схватил кусок глины, плюнул, замесил, вылепил человека, дунул на него... Чихнул первый человек и сразу:

— «Слава в вышних богу!»! Здравия желаю, ваше превосходительство!

— Нет,—говорит бог,—ты меня так не величай!.. Царских генералов так называть будешь, а мне пой: «Святы́й боже, святы́й крепкий!..» Ложись, Адам!

Лег Адам.

Ухватил бог Адама за ребро... Дернул... Выдернул ребро—дунул.

— Получай Ёву! А я лягу спать!

Весь седьмой день проспал бог.

А на восьмой встал, поглядел, покачал головой:

— Ох, и натворил же!..

.....

Вот и вся история о сотворении мира... Она не нова, правда, но в последнее время стали ее забывать.

Я напомнил...

Напомнил, чтоб не забывали... Ведь скоро Страшный суд, и неприятно будет на сковороде поджариваться за то, что забыли главные божьи дела. Ибо все, что бог потом делал,—ерунда по сравнению с его первыми делами, коими он так славен—всегда, ныне, и присно, и во веки веков.

Аминь...



Да на небесные

И прилетел архангел Михаил на небо...
И постучался архангел Михаил к богу...

- Кто?
 - Михаил.
 - Заходи.
-

— Ну! Рассказывай, Мишенька, как там, что там? Что слышал? Что видел? Где бывал? Миропомазал?¹

— Эх, боженька! Мне бы не говорить, а вам, боже, не слушать...

— А что такое?

— Да... Полетел это я, как вы приказали, в Москву... Новую власть на царство миропомазать... Благодать на нее напустить... Зашел в Кремль...

— Нельзя ли,— спрашиваю,— повидать того, кто у вас тут самый старший?

— А тебе,— спрашивают,— по какому делу?

— От бога я... С неба... Миропомазать бы... Всюду так... Верховную власть всегда мазали... Благодать напускали... И теперь— вот в Англии, в Бельгии, в Италии, в Японии и по другим странам еще мажем... Надо бы и у вас... И так запоздали— думали, не удержитесь...

— Лети,— говорят,— дальше... Некогда как раз... У нас теперь съезды, совещания— не до тебя... Киш! После прилетишь! Велено никого не пускать, кроме делегатов.

— А ты что же?

— А что мне было делать? Пошел к Тихону²...

¹ Миропомазать— совершить обряд помазания миром— благовонным маслом.

² Тихон— глава православной церкви, выступил в 1922 году против декрета Советской власти об изъятии церковных ценностей для голодающих.— О. В.

— Ну, как святитель?

— Поросят святитель откармливают... Бедствует, сердечный! Достатки небольшие... Сергия Радонежского моль выела...

— То-то же от Тихона последнее время молитв не слышать.

— В печали владыка... Только и славы, что белый клобук. Без штанов сидит: на муку променял... «Зазвоню,— говорит,— в колокол и гляжу: справлять ли службу или нет... Так иногда какая древняя старушка приковыляет. А все пасомые на заседаниях... Грустно...»

— А вообще что владыка подельвает?... .

— Дерется владыка. С властью дерется. Власть ценности церковные для голодных отбирает, а владыка не дает. «Не единым хлебом,— говорит,— жив будет человек, а словом, что из уст божьих выходит...» Силен в текстах владыка...

Власть к нему и так и сяк:

— Голодные умирают... Владыка, опомнитесь!

А владыка им (ох, и непоколебим же в вере Христовой!):

— У вас голодные хлеба просят, а вы им камень, да еще не малый: каратов в тридцать—сорок».

Одним словом: евангелием их, евангелием!!

Там такое поднялось, такое поднялось...

Рассказал я ему, по какому делу...

— Э,—говорит,—сейчас и не суйся... Да и вообще не советую. А там,—говорит,—как знаешь. Полети попробуй на Украину. Там тоже верховная власть есть. Может, там повезет.

Ну и полетел это я на Украину.

Пришел к власти. Название какое-то чудное. ВУЦИК называется.

И не благочестивейший и не самодержавнейший, а всего только ВУЦИК.

Спрашиваю самого старшего. Пустили. Ничего себе человек: тихий такой, чернявый и в очках. В годах уже. Поклонился я ему и говорю:

— Я от бога к вам. Насчет миропомазания и благодати, потому как вы верховные.

— А вы,—спрашивает,—кто? Рабочий?

— Ангел я...

— Квалифицированный? Какого цеха?

— Я не цеха. Лики мы ангельские...

— Лыко дерете? Ага... А в профессиональном союзе состоите? На голодных отчисляете?

— Нет,—говорю.—Я миропомазать... С миром я...

— А я,—говорит,—разве с боем?.. И я с миром... Что хотите? Говорите коротенько.

— Я и говорю: миропомазать вас хочу, благодать бог посылает через меня. Вот и хочу...

— Ага... Вот оно что... Сам не могу решить. Оставьте заявление... Надо прогolosовать. Как президиум. Ага, вот и президиум... Вот и хорошо. Подождите.

— Товарищи! Тут вот ангел от бога, хочет миропомазать. Как быть? Мое мнение: необходимо создать комиссию из представителей Наркоминспекции, Наркомпрода и Женотдела...

— Это еще что? Зачем комиссия? (Это секретарь так.) На Чернышевскую его, там его миропомажут...

— Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы на Чернышевскую? Все... Ладно... Товарищ,—говорит,—обратитесь по этому делу на Чернышевскую¹...

— Позвольте,—говорю,—хоть благодать пустить...

А секретарь:

— На улице пустишь... Тут и так душно...

Пошел я на Чернышевскую. Встречаю батюшку. Идет с «вещами» да все крестится. Думаю: «Наш». И к нему:

— А вам,—спрашивает,—чего?

— Так и так,—говорю,—миропомазать, благодать...

Оглянулся он по сторонам—и ко мне:

— Лети, голубь. Лети лучше и не оглядывайся! Боже тебя сохрани и помилуй. Удирай, пока не поздно, а то тут тебя так миропомажут...

Полетел над Украиной. Побывал в Киеве. Зашел к св. Софии, да такого насмотрелся, такого наслышался. Церковь—не церковь... Театр—не театр. Епископ молодой, на голове английский пробор... Стоит и молодежи подмигивает. Служба, словно «Вечорниці» художника Ницинского, ничего я не понял.

— Ну, а народ молится? Не замечал?

— Замечал. Молятся. Только молитвы какие-то новые. Все в тех молитвах перепуталось. Какая-то молитва и «в

¹ На Чернышевской улице в Харькове — тогда столице УССР — находилась ВУЧК — Всеукраинская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.— О. В.

бога», и «в Христа», и «в печенки-селезенки»... А чаще всего «в мать». Грустно, боже... Испаскудился народ... Не слушает вас...

— Кого не слушает? М-е-н-я? Да я его!!! Кликни Илюшку! Пускай громы делает! Зажги молнию!!! Я им покажу!

— В Илюшкиной колеснице, боже, ось сломалась... Спичек нету... Чем зажжешь? Гаврило на завод «Серп и молот» пошел — может, дадут коробочку в долг.

— Ну иди. Позови Иисуса.

— Иисус просил не беспокоить: евангелие переделывает. В том месте, где это: «Аще кто тебя ударит по правой, подставь тому и левую», переделал: «Аще тебя кто ударит по правой щеке, схвати скорей дубину и побей его, сукиного сына, в цепки...»

— Попроси мать Божию.

— Мать Божия все плачет... «Дожила,— говорит,— до того, что юбки исподней уже нет, чтобы по раю прогуляться... И на земле, говорят, жизнь пошла на нет. От духа сына родила... Какая от духа радость: ни прижаться тебе, ни поцеловаться...»

— Вот вспомнила старуха! Ну иди. Пускай Маруся Египетская забежит.

— А что с миром делать? Может быть, продать? Бочка до предела полна: через край льется...

— Умашивай в Англии, в Бельгии. В Японии умашивай.

— Не хотят уже. Говорят, что все мантии в пятнах, с плешей каплет. Придумайте что-нибудь. А то молодежь вчера на мире яичницу жарила... Илья как-то колесницу подмазал... Павел сапоги чистит... Сплошной грех...

— Придумаем...

.....

— Звали меня, боженька?!

— Что же это ты, Марусенька, забыла обо мне? Уж никогда и не забежишь...

— Скучно у вас, боженька... Старенький вы уже стали... А у нас там Георгий на гармошке играет и такую веселую распевает:

Эх, Распутина любила
Д'к Распутину ходила
Саша поздно вечером!

— Лучше бы там дракона давил да за жеребцом глядел, чем на гармошке наигрывать... Жеребец весь в коросте, а ему игрушки... Не нагулялся в холостяках?! А ты тоже хороша. Раньше забегала...

— Э, раньше?! Раньше и вы, боженька, какие были? Сильные и грозные! За семь дней вон чего наделали. Вселенную создали... А теперь?..

— Что теперь?! Да я!..

— А теперь только... щиплетесь...

1922



Страшный суд

И рывкнули трубы архангельские... Разверзлись небеса... Треснула земля и раскололась... Раскрылись могилы... Подскочили косточки одна к другой, сцепились, плотно мясом обросли... Повеяло душами... Быстро вскакивают души в свои бывшие обиталища. Поднимается народ православный и бегом бежит, застегиваясь на ходу... На Страшный суд спешит люд божий, мужеска и женска пола, старый и молодой, зело грешный и светло-праведный, и так, средний, соглашатель, что одну неделю в автокефальной, а другую — в православной...

В сиянии золотом, на престоле высоком сидит грозный Саваоф. Одесную — Христос.

И смолкли трубы.

Встал грозный Саваоф:

— Все собрались? Домкомам проверить под личную ответственность!

— Все, господи.

— Судить буду вас по делам вашим! Слушай мою команду: которые овцы — направо, которые козлища — на-ле-е-во!

Лавиной двинулись все направо.

Вперед пулей вылетел, пожалуй, наисмирненнейший, пожалуй что, наисвятейший, божьей милостью патриарх, раб божий Тихон, владыка и Великой, и Малой, и Червоной, и Белой, и Прикарпатской...

Молнией сверкнули очи Саваофа. Громом прогрохотало:
— Вернуть Тихона!!!

В митре бриллиантовой, с крестом изумрудным, в золотоканной ризе склонил голову свою перед судией владыка и Великой, и Малой, и... и...

— Куда побежал, Тихон? Кто ты еси, Тихон?!

— Баран есмь я, господи! Овца кроткая...

— Козел ты еси, Тихон.

— Баран есмь я, господи.

— Козел ты еси, Тихон! Просили... Давал?! Умирали... Спасал?! Притесняли... Защищал?! Плакали... Утешал?!

— Да, господи... Давал, спасал, защищал, утешал... Деникину давал... Колчака спасал... Юденича защищал... Врангеля утешал... Ибо «никто же больше не имат, аще душу свою положит за други своя».

— А дети? А матери? Миллионы трупов? Тихон, за-был — «легче верблюду»?

— Не верблюду я, господи!

— Кто ты еси, Тихон?

И тихий, робкий голос из толпы:

— Дозволь, господи, я скажу. Я — смиренный раб, епископ Нафанаил, владыка Харьковский и Охтырский. Я скажу, господи, только чтоб в газеты не попало. Никогда в газетах не выступал.

— Говори.

— С одной стороны, господи, так: помочь надо... А с другой — велелепие твое, о господи...

— Не верти! Говори, что должны были делать?

— Господи...

— Кто же вы есте?

Крикнул и замолк.

...Тихим шагом подошел к престолу господню Юрко Победоносец:

— Разрешите доложить...

— Ну?

— Я как начветсанупр хлевов твоих, господи, должен удостоверить, что эти твари ни к одной из вышеупомянутых пород не принадлежат. В результате длительных наблюде-

ний установлено: поведением — лисы, характером — волки, нутром — боровы, плодovitостью — кролики, голосом — канарейки. Отец — Распутин, мать — ведьма с Лысой горы. Питается — рыбой. Сибирка — не берет.

И отошел.

Долго-долго сидел Саваоф... И думал:

«Кто пасет?! Кто пасет?!»

И встал всевышний. Махнул безнадежно рукой.

— Не могу... На землю... Пускай трибунал... Все по могилам!.. Суд откладывается... Назад!

1922



„Тупно-баба“

ИПНОЗ.

Вещь, как известно, очень таинственная и мало исследованная...

Чудеса профессоров-невропатологов не раз поднимали у вас волосы дыбом и заставляли широко раскрывать глаза.

Все это такое непонятное, такое «потустороннее», удивительное.

И кто бы мог подумать, что в небольшом селе, за пятнадцать верст от железнодорожной станции, живет человек, который вызывает страх и у мужчин, и у женщин, и у малых детей своей таинственной, непостижимой силой, своим страшным «сглазом»... «Дивны дела твои, господи!»

Вот идет оно, это страшное существо по улице, плетется, на палочку опираясь. Идет и честит свою невестку за то, что пустила скот на ее лужок, что никак не отобрать у той полгумна, присужденного ей районной земельной комиссией.

Обыкновенная баба — подумаете вы...

Вот сидит перед вами существо, пола, видимо, женского, в свитке, в холщовой юбке, босая, голова закутана в большой серый, со множеством заплат платок, и смотрит на вас

выцветшим единственным глазом, и рассказывает, причитая о жизни своей безрадостной...

Обыкновенная баба — подумаете вы... Нет, граждане, это не обыкновенная баба, а страшная баба, это «баба-коровница», что уже семьдесят с лишним лет держит в страхе жителей села.

Это такая баба, что — встретите ее, значит, непременно с вами беда приключится...

Такая баба, что, коли перейдет вам дорогу, — лучше возвращайтесь, все одно несчастья не миновать...

Вот какая баба...

Прозвание «коровница» никакого отношения к ее таинственной силе не имеет: это ее муж когда-то у барыни коров пас...

Таинственная баба...

Идет баба-коровница площадью... И вот вы видите, как пастухи галопом летят, прямо ветер свистит.

— Куда вы, хлопцы?

— Удираем, чтоб баба-коровница дорогу не перешла, а то телята молоко высосут...

— Так уж и высосут?

— Обязательно!

И будьте уверены: высосут!

— Чего это вы, Иван Демьянович, домой едете? Вчера же говорили, что в лес по дрова собираетесь на весь день?

— Да вот ехал я, так баба-коровница дорогу перешла... Повернул домой, ведь все равно — либо дерево придавит, либо опрокинусь по дороге, а не то лошади понесут...

— Да неужто?

— Обязательно!.. Вот вы смеетесь, а я на себе проверил... За снопам ехал... Перешла она мне дорогу... А, думаю, пропади ты пропадом, — поеду... Поехал... И представьте себе: опрокинулся... Опрокинулся и дышло сломал... Вот она какая...

И хоть кого вы тут спросите про бабину силу, все в один голос:

— Не простая баба! Глаз у нее такой, или в другом каком месте сила эта сидит, а что сидит, то сидит...

Лучше не спорьте!

И пошла демонстрация бабиной силы: и оси ломались, и шворни лопались, и ободья распадались, и дышла трескались, и кони несли, и волы бесились, и телята высасывали, и... и... и...

Примерам нет числа.

Силы у этой бабы — неисчерпаемый кладезь. И направлена она непременно во вред люду православному.

Сила в ней, что б вы там ни говорили, от дьявола! Не иначе!..

Я — скептик. Я не верил и посмеивался, когда мне рассказывали о страшной силе бабы-коровницы.

А люди верно говорят: не смейся... никогда не смейся...

Не соврали люди.

Довелось мне поехать на почту.

Едем... Вот Андрей Васильевич и говорит:

— Черти бабу-коровницу несут!

— Случится что-нибудь?

— Обязательно...

Так и вышло. Заехали мы в Песках в сельскохозяйственный кооператив колбасы купить... Отвешивает нам продавец колбасу... Только отрезал, а она из-под ножа — плюх! — и в мед!

И ели мы сладкую колбасу... А колбаса с медом — не с булкой мед: сами понимаете...

Я и говорю:

— Уж не баба ли коровница?

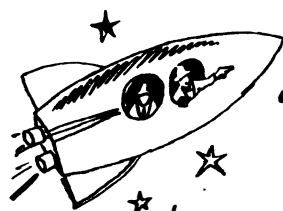
— Она! Хорошо хоть не в деготь! Могла бы и в деготь плюхнуть...

Вот какая баба...

.....

Гипнотическая баба... Гипнотизирует на расстоянии и руками над вами не водит... Гипнотизирует...

А мы ей верим! Вот мы какие!



Земля - Луна - Марс

Недалеко то время, когда
можно будет побывать на Мар-
се, на Луне и т. д.

(Из газет.)

Мы — практики...

Мы, само собой разумеется, не против того, чтобы побы-
вать на Луне или на Марсе, или даже на Сатурне и на
Нептуне...

На Луну, к примеру, это не тяжело... Лететь пять дней
всего. Это — немного.

Зарядят вас в ракету (в ракетах, говорят, туда будем
ездить), выстрелят, к примеру, в понедельник, а в пятницу вы
уже с Луны знакомых на Земле ручкой приветствуете:

— Здравствуйте! Уже тут!...

А вот на Марс сложнее. Двести пятьдесят шесть дней на
Марс надо лететь.

Восемь с половиной месяцев... Тяжеловато малость... Это
еще, если у тебя в пути никакой загвоздки не случится, не
зацепишься там за какое-нибудь созвездие Плеяд или Ори-
она... А то и целый год придется лететь, пока на Марс
доковыляешь...

Довольно долго все-таки... Хотя во время революции и
приходилось из Харькова в Киев месяца четыре иногда ехать,
но мы об этом уже позабыли,— это раз, а во-вторых, это тебе
не восемь месяцев...

И к тому же вы были у себя дома. На станции можно было и яичко какое за кожух выменять, а тут — дорога неизвестная, харчи надо брать с собой... А ежели подсчитать, сколько нужно одного хлеба на двести пятьдесят шесть дней брать, и соли, и сахару, то выйдет так, что придется в одну ракету садиться самому, а за тобой десяток ракет с продуктами будут свистеть...

Да еще, боже сохрани, посмеется кто-либо из механиков и «зарядит» продукты сильнее, чем вашу ракету, и получится так, что вы еще только к Луне подлетаете, а ракета с бубликами уже чуть ли не около Венеры... И кричать некому:

— Перехватите, товарищи!..

Да что тут говорить: на первых порах немало будет всяких неудобств...

Потом оно, конечно, наладится...

Когда по дороге на Луну, на Венеру и на другие планеты помельче будут продуктовые ларьки, тогда не так страшно...

Долетел, разрядился из ракеты, забежал, перекусил и заряжайся дальше...

А пока все с собой придется брать.

Наши практические предложения по этому поводу такие.

Прежде чем совершать рейсы в межпланетном просторе и на всякие планеты, следует по пути:

1) Открыть продуктовые ларьки.

2) Открыть столовые общественного питания, при одном только условии, что там быстренько будут подавать есть, а то ракета — не лошадь и не трамвай...

3) Не мешало бы к Луне и пивной бар прикрепить.

4) На Венере (к ней сто двенадцать дней ехать) больницу с родильным отделением открыть, а то в дороге всякое может быть...

С первой партией высадить на Марсе социально-опасный элемент. Оно хоть и пишется, что марсиане народ культурный, да кто их знает — никто ведь их не видел... Это же только догадки... Прилетишь, возможно, вылезешь, а земляки с Марса подскочат, мигом тебя на палочку и шашлык из тебя и зажарят...

Доказывай тогда, что ты с добрыми намерениями.



Первое путешествие

Не совсем хорошо уже помню, куда именно предполагалось путешествовать: в Америку к индейцам или в Африку за слоновыми клыками и за шкурами леопардов и львов, но путешествовать решено было обязательно...

Очевидно, сначала нужно было посетить остров Робинзона, пожать руки правнукам Пятницы, после высадиться из лодки на африканском берегу, настрелять слонов, бегемотов, львов, леопардов и тигров, подразнить палкой крокодила, фыркнуть на боа-констриктора, — и только тогда со слоновыми клыками и со звериными шкурами прокатиться на лодке через Атлантический океан к Америке, посетить хижину дяди Тома и посмотреть, как Ястребиный Коготь сдирает с бледнолицых скальпы.

Из Майн-Рида и Фенимора Купера перечитали мы абсолютно все, что было в волостной библиотеке и в окрестных школах; случалось иногда выкрасть или попросить через горничных книжку и у барина.

Собрались мы в Африку и в Америку сначала втроем: я, Панько Верба и Омелько Канда.

А когда встал вопрос, с кого Ястребиный Коготь будет сдирать скальп, — решили взять Сашка Кендюха, неуклюжего и неповоротливого маменькиного сыночка. Никто из нас его не любил, так как в школу он не приходил, а приезжал с хутора. На переменке он всегда вытаскивал из мешка колбасу или жареного цыпленка, тогда как мы завтракали хлебом с огурцом или луком.

— Возьмем Сашка! Как дойдет до скальпа, мы вытолкнем его, пускай с него сдирают, у него голова здоровая и волос жесткий.

Сашко согласился. О скальпе мы ему, понятно, не говорили.

Сашко был полезен еще и тем, что имел возможность набрать на дорогу сала, хлеба, яблок и даже денег. Он нам признался, что знает, где бабушка прячет кошелек, а у бабушки было не меньше пяти рублей!

Пять рублей! Черт знает куда можно было заехать на пять рублей, да еще с салом, хлебом и яблоками!

Не только в Африку, но и за Африку, и даже туда, где Суматра, Ява, Борнео, Целебес, Сандвичевы, Курильские, Кольский, Канин, Апеннинский, как в географии мы учили...

Карты в школе не было, поэтому как скажет, бывало, учитель:

— Начинай сверху!

И начнешь:

— Кольский, Канин, Скандинавский, Ютландский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Таврический или Крымский.

Полуострова в Европе.

То же самое с островами:

— Корсика, Сицилия, Сардиния!

— Ну, дальше,— нажимает учитель.

— Суматра, Ява, Борнео, Целебес.

— Дальше!

— Крит! И тот... как его там... Берингов пролив и тот... Грин... Грин... Гринляска!

— В угол!

Так что географию мы знали...

Лодку мы наметили украсть у деда Пидсотка на озере,— дед Пидсоток там сети ставил, карасей ловил,— ночью перетащить лодку к речке (речка звалась Ташань), поплыть по Ташани до Ворсклы, по Ворскле до Днепра, по Днепру в Черное море,— ну, а морем путь уже прямой, как на ладони, в Дарданеллы, Босфор, из Босфора немного вправо, в Бабэль-мандебский пролив, а оттуда уже до Африки «как до соломы».

Сашко Кендюх натаскал булок, сала, яблок, спичек, соли... Все это мы припрятали в глинище за кладбищем.

Был конец мая.

Однажды темной ночью, когда дед Пидсоток расставил на озере сети, мы тайком перетащили лодку с озера на речку.

Той же ночью, задолго до рассвета, мы должны были дать стрекача, но Сашка Кендюх никак не мог добраться до

бабушкиного кошелька: бабушке в ту ночь не спалось, она все кряхтела и кряхтела и задремала только под утро.

Пока Сашко следил за бабушкой, мы с Паньком и Омельком перенесли из глинища в лодку продукты и кое-какую одежду.

Уже светало, когда прибежал, запыхавшись, Сашко.

— Шесть рублей! — выпалил он.

— Ого! — крикнули мы и давай скорей укладываться. Не скажу, почему в тот день нечистая сила сорвала деда Пидсотка ни свет ни заря, — кажется, базарный день в местечке был, и дед решил пораньше очистить сети, чтобы первым со свежей рыбой на базар явиться.

Подошел дед к озеру, нет лодки...

Дед юрк туда-сюда, а от озера через луга к речке по траве след, где мы лодку тащили (вот какие мы были мудрые, как следы замели!), дед по следу к речке, и только мы хотели оттолкнуться, как Пидсоток:

— Куда это вы, висельники, а?

Ну, мы из лодки, как лягушки, — прямо в воду! Воды в речке было по пояс... Я успел ухватить булку. Бабушкины шесть рублей были зашиты у Панька в поясе... Мы бегом лугами до Ясенового... Это — такой лесок за селом, с глубокой балкой посредине. Засели в балке, в густом орешнике, сидим, сопим.

— Что дальше делать?

А чертов дед Пидсоток поднял шум на все село:

— Ишь сукины сыны! Острожники, изуверы, башибузуки! — Разошелся дед, чуть ли не все село собрал. — Чьи?

Дед всех узнал и всех выдал...

Матери наши, каждая по-своему:

— Ой, боже мой!

И каждая начала искать что-нибудь длинное и увесистое...

— Где же они? Дайте мне моего! — Каждая мать ударила руками о полы.

— Подались в Ясеновое! — пыхнул трубкой дед. — Нет, вы смотрите, люди добрые, лодку украли! Как бы я тогда сети ставил?! А? Вот разбойники! Поймаю — уничтожу!

— Куда ж это они собрались? — плача, спросила моя мать.

— Куда бы ни собрались, а конец один — острог! — махнул рукой дед Пидсоток.

Матери опять:

— Царица небесная! Ой, дайте мне моего!

Дед Пидсоток выбросил из лодки на траву одежду и все наши запасы.

— Забирай, чье оно тут есть! Да помогите лодку к озеру перетащить! Ишь, хлюсты, сколько травы истоптали! Беритесь! Ревете тут! Смотреть за лоботрясами нужно лучше, чтобы не хныкать потом! Матери!

Взялись наши матери за лодку и вместе с дедом перетащили ее к озеру...

Двое суток сидели мы в Ясеновом, в балке... А потом вечером пошли домой.

Мать очень плакала, а отец поучал, как из дому удирать в путешествие...

Фантазия, помнится, зародилась у меня в голове, а отец выбивал ее совсем из другого места... Вожжами...

Панько и Омелько тоже садились на скамейку потихоньку, осторожноенько и при этом морщились-морщились.

Через неделю наведалься из хутора Сашко Кендюх.

— Ну как? — спросили мы его.

— Два кнута на мне отец изломал! Очень сердился! — рассказал Сашко.

— А бабушкины деньги? Шесть рублей?

Панько отдал деньги Сашку, еще когда мы в Ясеновом сидели.

— Подбросил бабушке там, где она кошелек прячет. Бабушка думает, что она вытряхнула его, когда в субботу деньги на свечку брала...

Так закончилось наше путешествие в Африку за львами и в Америку, где мы собирались посмотреть, как сдирают индейцы скальпы с бледнолицых.

Давным-давно это было...

Было это чуть ли не в то лето, когда короновался на царство последний российский император и когда староста гонял всех в церковь, чтобы вымаливали «многая лета» царю.

Не очень горячо, видать, молились тогда за царя и императора, ибо лета ему вышли не такие уж долгие, а главное — последние для него и для всей его династии.



Дед Матвей

о-о-он там, у пшеничных копен, дед Матвей гусей пасет...

- Здоровы были, дед Матвей!
- Здравствуйте!
- Как живете?
- Ничего себе!

Только дед Матвей «ничего себе» не скажет, а говорит дед Матвей о том, как живет он, по-своему...

Очень уж «круто» говорит дед Матвей... Вообще дед Матвей говорит чрезвычайно «кудряво», и после каждого выражения, после любого слова дед Матвей «загибает» и «загибает» так, как никто вокруг «загнуть» не способен...

Беликий дед в этом деле архитектор: у него столько этажей, с такими карнизами, с такими узорами, что не разговор у деда Матвея, а кружево, «богом», «душой», «Христом-богом» и «матерью» вышитое...

Еще с детства как начал панов честить, так до сих пор...

Пусть и панов давно нет, но не отвыкать же деду Матвею в 73 года!..

— Вот как вышвырнул меня батько под плетень еще вот таким, я встал да как пошел, как пошел!.. А было мне тогда... Был, как говорят, не подросток, не парубок... И такого я на своем веку посмотрелся и послушался... И ничего, не свалили. Живой. И жить буду еще, так как наша теперь взяла...

.....

Дедова теперь взяла...

Стоит дед Матвей среди поля, а справа у него Псел, а перед ним луг... И луг, и поле, и Псел, и все вокруг теперь «наша взяла».

Стоит дед Матвей, на дрючок опирается... Невысокий дед Матвей, в белой жилетке, в белых полотняных штанах, в черном картузе, на брови надвинутом, и смотрит дед Матвей

на все четыре стороны своими уже незоркими глазами... И ноги у деда Матвея уже немножко колесом, и хлопают деда Матвея по икрам короткие голенища. Дед Матвей в сапогах, так как:

— Э! Колется! Стерня колется!

А сколько эти подслеповатые дедовы глаза поперевидели за 73 года, сколько эти дедовы немножко колесом ноги повыходили, сколько эти дедовы потрескавшиеся руки перетаскали, а сколько эта спина у деда Матвея повынесла!..

Может быть, поэтому очи его теперь слезой оmyваются, так как:

— Не вижу уже теперь, тряся его матери, как когда-то видел! Левое слезой берется и закидает!.. Говорят, розовым цветом промывать. Промывал—не берет... Мне бы вот крашанку¹, я бы в пять секунд вылечился... Из крашанки такое лекарство знаю, что намажу—и все... И прошло...

Может быть, поэтому и ноги у деда Матвея немножечко колесом, так как:

— Не побегу уже теперь, как когда-то бегал. Гусыню, бывает,—издохла бы она,—не догоню!.. Вот так...

И руки уже у деда Матвея не так косу тащат, и спина у деда Матвея уже не так ловко сгибается и выпрямляется...

Только дух у деда Матвея, как и прежде:

— Да не покорюсь, ей-богу, не покорюсь... А как увижу неправду, смотри мне, для неправды у меня вот этот дрючок выстроган... Так и порешу!.. Враз!..

* * *

И поработал же я, если бы ты знал. Ей же богу, не меньше чем вон ту гору труда вытудил... Как пошел это из-под плетня на Таврию, к пану овец пасти... Хвайн—пан назывался...

— Какой Хвайн, дед Матвей? Может, Фальц-Фейн?

— Ну да, Одивард Иванович... Два их было: один Одивард Иванович, а второй Илья Иванович... Полей у них, полей да степей!.. Станешь—не видать тебе ни конца, ни края... Скота того, скота, а овец—тьма-тьмушая!.. Четыре года по тем степям гонял... Потом на Черноморье подался... К казакам... Косарем там был...

¹ Крашанка—яйцо.

Даст, бывало, хозяин стакан горилки:

— Катай, Матвей!

Да возьмешь косу—как пойдешь, как пойдешь вдоль, а хозяин стоит и только рукой махнет, где поворачивать... Тогда вольные степи были—сколько кто закосил, то и твое... Только никто за мной угнаться не мог... Сколько же я этой травы степной положил! И все вот этими руками... Да и домой вернулся... Тридцать три года в экономии у пана Корецкого протолкался...

— Тридцать три года?

— Тридцать три года, как одну копейку... И на отработку и на срок... И зимой и летом... И в дождь и в снег. А пан бешеный. Выйдет в поле и матюгами, матюгами... Ну и матерился же, сукин сын! Бывало, материт, материт, а я молчу. А потом я ему:

— Кончили, барин?

— Кончил,

— Так теперь я начну.

И к нему:

— До каких же пор ты, раз... издеваться будешь?

Да как возьмусь, как возьмусь!.. Он матюгами, а я еще крепче. Тогда он как загремит:

— В тюрьме сгною сукиного сына!

— Тюрьма,—отвечаю,—наша! Для нас тюрьма! Что пугаешь! Да приду же я когда-нибудь из тюрьмы, век там вековать не буду! А ты куда денешься? Изожгу! На пепел изожгу!

Тогда он на коня, и ходу...

Четверо нас таких было... Один из Федоровки, один из Песков, один из Броварок, а я из Маниловки... И никому мы не спускали.

Говорил тогда пан:

— Из каждой слободы по сукиному сыну!

Но боялся меня пан! Ей-богу, боялся!

Довелось и в тюрьме сидеть... Приказчика едва не убил!.. Эх, и бил же!

— За что?

— За неправду бил... На отработку снопы возил... Тяжкая была отработка. Даст пан десятину, а ты ему за одну эту десятину три десятины выкоси, свяжи, свози и сложи. А баба моя тогда вот этой дочкой тяжелая ходила... А снопы, как гири... А скирды под облака... Я на скирде, а баба снопы с арбы кидает... Побросай снопы, если она вот-вот рассыплется!.. А он, приказчик, значит, ходит, гадина, и все ему не так, все

ему не так!.. Забрался на скирду и давай то, что я сложил, разбрасывать... Столкнул я его со скирды и сам за ним. Да как насел—бил, пока хотелось. Судили меня—выкрутился... Нашли, что приказчик неправильно поступил... Не смирялся я! Никогда не смирялся!.. Меня уже тогда называли... Как же это оно?.. Ливоручионером меня называли... Я и тогда этого ждал. Я знал, что оно будет... Вот это будет, что теперь пришло... Революция... А уже как пришло... Ни единого раза в сборне¹ не пропустил... Да все думаю: «А что бы пан сказал, если бы был живой...» Пропал пан еще до революции. Помер... Вот хожу на сборню, слушаю. Нет панов. Нет даже посмотреть. А я тридцать три лета и тридцать три зимы подряд вот этими руками пану за шкуру сало закладывал. Вот как было. А теперь наша взяла... Хожу это и радуюсь... Вдруг говорят: «Гетман»... Вдруг: «Немцы». И к нам заявились... Бьют. Неужели, думаю, пропало все?.. Пришли немцы, собрали нас на площади, а сами вокруг... Что же, думаю, будет?.. С ними и наши каратели... Уже кое-кого били... Стоим мы... А я к ним:

— А позвольте,—говорю,—спросить, как вас атитуловать? Заметил я, как один у них спросил:

— Куда вы, товарищи, едете?

А они его в четыре нагайки как взяли:

— Товарищи, говоришь?!

Ключьями мясо с него рвали...

Так вот я и спросил, как их атитуловать—господами или благородиями.

Один подскочил да нагайкой меня по ногам.

— Аратар!—говорит.

«Бей,—думаю.—И тебя когда-нибудь ударим!»

Сколько они тогда народа перепороли! Буржуи выдавали...

А потом снова наша взяла...

Было, всего было. И все-таки наша сверху...

А как Махно как-то раз под пасху в село ворвался... Поплакал я тогда... Савку моего едва не зарубил, идол!.. Восемь человек тогда в щепки потесал!.. Приехал как раз Савка из Красной Армии. Взял ребенка и пошел к куме. А махновцы и прискакали... А он приоделся, побрился... Известно, из армии пришел...

Они к нему:

— Документы?!

А у него тогда был документ, что он на курсы назначен...

Забрали они его с ребенком в штаб. А мы и не знали. Сидим

¹ Сборня—сельская управа.

у соседа на обеде: жена у него как раз умерла... Вдруг прибегает баба:

— Савку вашего забрали!

Сорвался я с невесткой и в штаб. А штаб в Верхней Маниловке. Бежим с невесткой... А невестка, хоть и с ребенком — так молодая же, а мне уж куда бегать! Бегу, а под грудью горько мне, горько... Не добежал до штаба, вот примерно как до нужника, и упал... Подхватился и опять бегу... Прибежали...

— Савку моего, — прошу, — отдайте! Один он у меня! И дети малые!

Махно сидит у стола, а около него костыли... Мы с невесткой к земле припадаем и плачем, плачем... Вдруг входит какой-то адъютант. Головища у него, как вот бывает собачонка кудрявая.

— Потесать, — спрашивает, — батько?!

И тут:

— Собирайся! В поход собирайся!

Удирать, значит, нужно...

Махно к Савке:

— Твое счастье. Иди!

А тот, кудрявый, и говорит:

— Может, батько, хоть арапников всьпать?

— Не нужно! Собирайся!

Выскочили мы с Савкой.

А восемь человек хороших хлопцев в щепки порубил.

* * *

Рассказывает дед Матвей о жизни своей... И люльку курит и сплевывает... И в голосе деда Матвея слышится сила какая-то земляная...

Пережили. Все пережили.

— А скажи ты мне, что оно за «шехпалка» такая? Откуда оно пошло?

— Это, дед, нам на село помощь, чтобы из темноты быстрее выбрались... Рабочие в городе сознательнее нас, вот и взялись за шефство, чтобы нам помочь...

— Вон оно что! Значит, я тоже за «шехпалку» был. Над лазуретом... Взялось наше село лазурет содержать... Вот меня и назначили... Собирали я яйца и возил в Кременчуг, в лазурет... Там солдаты из Красной Армии поранятые лежали... А почему меня назначили? Потому, что у меня, брат, не попасешься. У меня, брат, черта с два к карману прилипнет...

Все, брат, до крошечки, в лазурет! Было так, что недосчитались в комитете пятнадцати крашанок... Когда смотрю, а они под шкафом... Я туда, а они с дырочками... Хлопцы говорят:

— То мыши, дед!

А я говорю:

— Чтобы мне этих мышей больше не было! А то головы раз... И поотрываю. Для ранящих собрано, ранящим и должно быть.

У меня не попасешься!..

Нагрузил воз и в Кременчуг, в лазурет... Привезу.

— Здоровы были!

— Здравствуйте, дедушка!

— Воспитания вам привез!

Встаю и иду в палату... А дохтур за мной. Подхожу к больному; лап за тухляк:

— Перемените, потому негодящий!

Подхожу к другому: лап.

— Переменить!

А я новые тухляки привез...

Вношу хлеб, вношу яйца.

— Ешьте, товарищи ранятые!

А дохтур:

— Так нельзя, дедушка. Им по назначению есть полагается.

— Как,—говорю,—нельзя? Пусть едят и поправляются. Ешьте! Чтобы все при мне поели!

— Нет,—говорит дохтур,—так нельзя... Мы выдадим им сколько нужно.

— Ну,—говорю,—выдавайте. Только чтобы все до щепки им было выдано!

— Да не беспокойтесь.

Хороший дохтур был...

— А чего,—говорю,—дух у вас в лазурете тяжеловатый? Прибирать нужно!

Сразу же помыли, карбол-кислотой побрызгали...

— Вот это,—говорю,—так. Так и должно быть!

Ходят они за мной, слушаются.

«Шехпалка» я—ничего не попишешь.

* * *

Правду люблю. Разорву, если не по правде... Вот в Полтаву ходил, на суд, ходил за правду.

— Как же так?

— А так... Лесники обыск в селе делали... Все село трясли. Дерево, что ли, искали... Приходят ко мне:

— Здравствуйте, дед!

— Здравствуйте!

— Можно ли у вас обыск сделать?

— Почему же, можно,— говорю,— а из Манжелии, из рай-она, у вас мандат на обыск есть?

— Нет.

— Так идите,— говорю,— откуда пришли!

Один ко мне... Замахивается.

А я его метлой.

Подали в Манжелию, в суд... Не берет ихняя.

Тогда они в Полтаву...

Приходит повестка... На суд в Полтаву. Я за палку, за торбу—и в Полтаву... Прихожу... Сидю в суде. Когда вот?

— Матвей Деревянка!

— Тут,— говорю,— здесь я.

— Пожалуйте за решетку...

А там сбоку помост такой и решетка.

«Ну,— думаю,— заграбастали!...»

— У меня,— говорю,— и хлеба нет, а вы за решетку...

— Ничего,— говорят,— пожалуйте...

Стал я, на решетку оперся. Ничего. Стоит хорошо...

Сидят они: вот так—трое, так—один, а этак—один...

Напротив них—я...

— Ну,— спрашивают,— отец, расскажите, как дело было.

— Да как было дело. Вот так и вот так дело было...

Пришли, а я их послал.

— Как же вы их, отец, послали?

— А разве,— спрашиваю,— здесь можно сказать так, как я им сказал! Ничего мне за это не будет?

— Говорите чистую правду, как было.

— Идите вы, говорю, к... Так я их послал!

Они так и попадали.

— Ничего,— говорят,— отец. Посылать умеешь!

— Кто знает,— говорю,— умеет ли еще кто-нибудь так, как я умею.

— Ну, а вилами-тройчатками бил?

— Разве там написано «вилами»?

— Вилами!

— Брехня,— говорю,— метлой!

— Ну,— говорят,— садись, отец.

Ушли они в совещательную. Вышли.

— Идите, дедушка, домой! Напрасно они вас по судам таскают...

А я им:

— Как же я,— говорю,— пойду домой, если у меня и хлеба нет?

Тогда они:

— Нате вам эту, дедушка, бумажку, и идите в комфуз¹. Там все вам дадут.

Дали они мне бумажку не больше этого пальца... Пошел я в тот комфуз и прямо к окошку... Вдруг один дядько из Ганновки:

— Чего это вы здесь, дед Матвей?

— Так и так,— говорю.

— Поедем,— говорит,— а то вы здесь три дня проходите. Видите, сколько здесь народа у окошка...

Забрал он меня.

Сплел я ему за это две корзины.

* * *

— За правдой не только в Полтаву пойду. Далековато Харьков... Вот бы мне рублей семь, я бы к Петровскому! К самому Петровскому!

— А чего, дед?

— Дела есть. Такие есть дела, что только к Петровскому. Ни к кому иному!.. Мне сказано, что Петровский—этот разберется...

— А что такое, дед?

— Дохтура нет, фершала нет... Разве это порядки?

И стоит дед Матвей на стерне у пшеничных копен и вдаль куда-то смотрит...

* * *

Если приедет дед Матвей в Харьков и «загнет» где-нибудь, не составляйте на него протокол.

Шестьдесят пять лет над дедом Матвеем издевались, а теперь, когда правда показалась, хочет дед Матвей, чтобы была правда во всех узеньких щелях, чтобы на месте трудового пота крестьянского, что землю озерами покрыл, всюду чтобы правда цвела...

Везде и всюду!..

1925

¹ Комфуз—комхоз.



„Нравственная работа“

С

Васькой Лбом мы давненько не виделись...

Когда-то мы с ним хоть и не были большими друзьями, но, встречаясь, всегда радовались друг другу...

Случайно как-то судьба свела нас с Васькой Лбом, интересы наши сошлись, и частенько мы с ним сидели за кружкой пива в «Баядерке» или в «Эврике»...

И в «Баядерке» и в «Эврике», да и в других таких местах Васька был своим человеком... И мне хотелось быть там своим...

У меня было на пиво, а Васька любил пиво (и водку тоже!), — сошлись мы, одним словом, с Васькой характерами...

Были мы с Васькой Лбом и в подвокзальных катакомбах (он и там был своим), ходили и по «малинам»...

Учил меня Васька интересной жизни, много пил, немало ел и, в минуты особой любви ко мне, хлопал по плечу и говорил нежно:

— Фраер ты ищо! И хороший ты, видать, парень, свой парень, а фраер... Ничиво — научимся! Ты только мне слушайся...

Мне Васька нравился... Может, потому, что он «бывший артист», а может, почему-то другому... Слушал я его охотно.

— Эх, ты,— говорил мне Васька.— Вон ты, кто ты такой? А я артист! Эх, если бы ты знал, какой я артист... Бывало, как выйду на сцену, как запою:

От-и-чево же, до-ри-гая,
В ету ночь ты не-е со мно-о-ой!

Млели все!..

И Васька пел...

В такие минуты приходил служка, дергал Ваську за рукав, говорил:

— Петь издесь низзя!..

А Васька дотягивал ноту и запивал пивом:

— Не буду! Чего пристал?

И задумывался... Тогда я лбом его любовался... Ах, какой у Васьки был лоб!! Какой лоб!!! Собственно, не лоб, потому что лба не было видно, а прическа на лбу... Удивительная прическа... Каким-то таким кандибобером она спускалась на лоб, волосок к волоску, потом загибалась и бежала на висок, и терялась уже там на небольшой Васькиной голове... Но вот этот бег Васькиной прически, ее порядочек на лбу, ее «барашки» на конце волос—все это было прекрасно и художественно закрывало маленький Васькин лоб... Подобные прически делаются только так: смачивают волосы, старательно те волосы на лоб зачесывают, а потом ладонью левой руки прижимают их ко лбу. Потом свободным движением гребешка (зубцы стоймя!) в правой руке обводят полукругом эти волосы к виску... Только тогда получается такая прическа... Иначе нет... И то не у всех она получится... А у Васьки она получалась всегда и была лучшая, какую мне когда-либо приходилось видеть... Вот какой был Васька!.. Вот какая была его прическа... Потому и нравился мне Васька... Три года его не видел... Начинал уже даже забывать... Но не сходятся, как говорят, только гора с горой.

Лежал это я как-то в городском парке, на зеленой траве, вверх спиной и внимательно смотрел, как между кустиками одна букашка другой головку отгрызает...

Смотрел я на это и думал думу горькую: «Почему одна букашка другой букашке голову откусывает? И почему именно голову?...» — как вдруг кто-то сзади хлоп меня дубинкой. Глядь,— Васька!

— Да воскреснет?! Васька?!

— Я!

— Откуда? И почему тут? И почему в таком виде?

А Васька стоит передо мной, костюм на нем новый, темно-зеленый, на ногах «джими», а на левой руке перчатка замшевая...

И курит Васька «Яву». А прическа?! Еще лучше, чем была тогда!.. Пышная-пышная и не водою, видно, смочена, а не иначе как маслом...

— Да откуда же ты взялся, Васька? И что ты теперь делаешь? Да ты, Васька, денди?

— Спрашиваешь? Живу, брат, как никогда не жил... И манеты пока вот, и работа, и нетрудная и интересная... С любви живу...

— Женился?

— Смеешься, чтобы я женился?! Не со своей любви, а с чужой...

— Не понимаю!

— Фраер ты, как я вижу, и до сих пор... Другие любят, а я живу...

— Тебя любят?

— И какой же ты непонятливый... И не меня любят, а сами любят, а я живу...

— Как это?

— Ну, слушай! Только «ша»! Тебе одному расскажу... И чтобы никакой конкуренции, потому я теперь строгой... В парке тут друг друга любят... Понимаешь?

— Не очень понимаю...

— Эх, ты! Вот ты сидишь тут у парке... И смотришь... Вот подходить трывай... Идуть у парк парочки... Гулять вроде... Ты смотришь, какие такие в них намерения. Тут нужен нюх... Я уже нюх етой имею... Меня уже не обдуришь... Вот парочка в боковую аллею, и друг к другу очень близко... Я вроде без унимания за ними... И украдкой наблюдаю — где садутся... Вот приметил, где сели... Сразу не ходи... Минут так через десять — пятнадцать на то самое место гуляешь... Гуляешь и натыкаешься... А они как раз целуются. Сразу до них...

— «А-а-а! Так вот какое безобразие?! И в общественном месте?! Да как вам не стыдно?! Тут люди ходят, свежим воздухом, можно сказать, дышут?! Вот какая, можно сказать, нравстинность?! Идем! Идем в контору!.. Прыгток надо составить! Пожалуйте!»

Ну, тут они, канешно, в смущении:

«Но, товарищ, да что вы?! Да мы ничего?!»

А я им:

«Какой я вам товарищ, когда вы такие безнравственные? Идем в контору!..»

Здесь надо строгий характер выдержать...

Ну, тут они, разумеется, просят:

— Да неудобно... Да...

— А делать это удобно?! Идем! Идем...

— Да гражданин...

Тут уже можно немного ослабить:

— Можно, положим, и тут оштрафовать... Квитанции со мною... Штраху десять рублей заплатите, квитанцию получите... И чтоб этого больше я не видел!

Чаще всего дают, потому что выбираешь подходящих... Берешь десятку и пишешь квитанцию... Квитанций я накопил... Пишешь: «Получено за безобразие у парке десять рублей!..»

— Фамилие?

— Да не надо фамилии...

— Как не надо?... Мне, говорю, для отчета надо...

На понт беру...

— Да вы,— просят,— что-нибудь напишите там...

— Ну, я вас жалею... Напишу какое-нибудь фамилие. Получайте,— говорю,— квитанцию... И чтоб этого более,— говорю,— не было! Идите!..

Они — ходу... А я себе гуляю дальше...

Так за день, смотришь, до пяти червяков и наптрафуешь... Живется, как видишь, неплохо... И, опять-таки, и работа нравственная...

Васька встал и пристально куда-то засмотрелся...

— Ну, будь! Ключуло, кажется... Беспокойная работа! Прощай!

И побежал Васька... А я смотрел ему вслед и думал:

«Вот тебе и Васька! Моралист, сукин кот!»



Вышколленник Остап Вишня

Будучи во Львове, я узнал, что украинско-немецкие националистические газеты подняли шумиху вокруг того, что якобы меня, Остапа Вишню, замучили большевики. Так вот слушайте, как это было на самом деле.

чень сильно они его мучили. Особенно один: сам черный, глаза белесые, и в руках у него кинжал из чистейшего закаленного национального вопроса выкованный. Острый-преострый кинжал.

«Ну,— думает Остап,— пропал!»

Поглядел на него тот черный и спрашивает:

— Звать тебя как?

— Остап,— говорит.

— Украинец?

— Украинец,— говорит.

Как ударит он его рукояткой в святая святых его национального «я» — Остап только вякнул. И душа его чирик-чирик и хотела вылететь, а тот черный хватъ его за душу, придавил и давай допрашивать.

— Признавайся,— говорит,— что хотел на всю Великороссию синие штаны надеть.

— Признаюсь,— говорит Остап.

— Признавайся,— продолжает черный,— что всем говорил, якобы Пушкин — не Пушкин, а Тарас Шевченко.

— Говорил,— отвечает.

— Кто написал «Я помню чудное мгновенье»?

— Шевченко,— говорит Остап.

— А «Садок вишневый коло хаты»?

— Шевченко,— говорит Остап.

— А «Евгений Онегин»?

— Шевченко,— говорит.

— А-а-а! А что Пушкин написал? Говори!

— Не было,— говорит,— никакого Пушкина. И не будет. Один раз,— говорит,— что-то такое будто появилось, а когда присмотрелись — женщина оказалась. «Капитанская дочка» называется.

— А Лев Толстой? А Достоевский?

— Что ж,— говорит Остап,— Лев Толстой! Списал «Войну и мир» у нашего Руданского. А Достоевский,— подумаешь, писатель! Сделал «Преступление», а «Наказание» сам суд придумал.

— А вообще,— спрашивает черный,— Россию признаешь?

— В этнографических,— говорит,— границах.

— В каких?

— От улицы Горького до Покровки. А Маросейка — это уже Украина.

— И истории не признаешь?

— Какая же,— говорит,— там история, если Екатерина Великая — это же передеть кошевой войска Запорожского низового Иван Бровко.

— А кого же ты,— кричит,— признаешь?

— Признаю,— говорит,— «самостийную» Украину. Чтобы гетьман,— говорит,— был в широких штанах и в полуботковской сорочке. И чтобы все министры были только на «ра». Петлюра, Бандера, Немчура. Двоих только министров,— говорит,— еще могу допустить, одного на «ик», а другого на «юк»: Мельник и Индюк.

— Расстрелять! — кричит.— Расстрелять, как такого уж националиста, что и Петлюру перепетлюрил, и Бандеру перебандерил.

Ну, и расстреляли.

— Такого писателя замордовали! Как он писал! Бож-ж-же ж нащ; как он писал! Разве он, думаете, так писал, как другие пишут? Думаете, он писал обыкновенным пером и чернилами? И на обыкновенной бумаге? Да где это вы видели? Он берет, было, шампур — заостренную палочку для галушек,— в черную сметану обмакнет и на тоненьких-претонюсеньких коржах пишет. Пишет, лепешкой промокает и все время напевает: «Дам лиха закаблукам, закаблукам лиха дам».

А если не очень уж смешно выходит, тогда как гаркнет на жену: «Жинка! Щекочи меня, чтоб смешнее выходило!»

И такого писателя расстреляли!

На первых порах ему было очень скучно.

Пока был жив, забегит, бывало, к Рьльскому или к Со-сюре, опорожнит одну-другую поэму, ассонансом закусывая. Или они к нему заскочат, жена, смотришь, какую-никакую юмореску на сале или там на масле поджарит,—жизнь шла!

А расстрелянный — куда пойдешь?

Одна дорога — на небо!

А там уж куда решат: в рай или в ад.

Первые сорок дней душа поблизости моталась. А когда она уже собралась в «обитель горнюю», — увязался и он за нею.

В небесном отделе кадров заполнил анкету.

Зав посмотрел:

— Великомученик?

— Сильный, — говорит, — великомученик.

— За Украину?

— За нее, — говорит, — за матинку.

— В рай!

Перед раем, как водится, санобработка. Ну, там постригли, побрили.

— Не брейте, — просит Остап, — ус запорожский, а то потом, — говорит, — трудно будет национальность определить, поелику (вспомнил-таки, хвала богу!), поелику, — говорит, — оселедец сам вылез...

— Так в какой же вас, — спрашивает завраспред, — рай? Общий? Или, может, в отдельный предпочитаете?

— А разве у вас теперь, — спрашивает, — не один рай?

— Нет. Прежде был один, общий для всех, а нынче разные раи пошли.

— Слава тебе, господи! — говорит Остап. — Наконец-то! А я, — говорит, — боялся, что придется в одном раю с россиянами быть. Мне, — говорит, — в наш рай. Самостийный. Автокефальный.

— Пожалуйста! — говорит завраспред.

Приводят Остапа в самостийный рай. Взглянул — и сердце забилося-затрепетало. Сплошной вишеник и весь в цвету. Любисток. Рута-мята. Крещатый барвинок. Васильки. Чебрец. Евшан-зелье. Течет речка-ручеек. Стоит явор над водою. Над яром дуб клонится. По ту сторону гора, по эту — другая. Камыши. Осока.

И в том раю на вишневой веточке соловушка щебетал.

— Курский? — спрашивает Остап.

— Кто курский?

— Соловей,— спрашивает,— курский?

Райская гурия в кубовой плахте сразу же подбоченилась:

— Что вы, пане, трясця вашей матери, с ума спятили что ли? Какой-такой курский соловей? Чтобы в украинском раю да курский соловей... Да тысячу чертей в душу тому, кто только подумать так может!.. Да повылазили б у него глаза, кто это увидеть может, да триста ему на пуп болячек-пампушек! Да...

Подбегает вторая в китайчатой паневе, красным поясом перехваченной.

— Ой, лышенько мое, не умею так лаяться, как моя кумася...

— Наш рай! — сразу же убедился Остап.

— Да ты знаешь, бешиха¹ тебе в живот, что мы, как только отавтокефалились, всех курских соловьев изничтожили. Да ты знаешь, что в нашем раю имеет право петь только тот соловей, который вылутился не далее пяти верст от Белгорода? А ты — курский! Да сто...

— Так это я,— Остап говорит,— не с национальной, а с орнитологической стороны...

— То-то оно и есть!

Ходит Остап по раю, осматривается.

— Ну, до чего ж рай! Просто тебе рай, и баста!

Все в украинских нарядах, играют на бандурах, лирах, на сопилках, в бубны бьют.

Танцуют гопак и метелицу.

Гурии живут в кладовушках; чуток какую полюбил, так и в кладовушку.

Едят галушки, вареники, сало, колбасы, капусту, лапшу и путрю из ячменя сладкого.

Пьют оковитую, варенуху и мед...

Ездят только на волах. На конях — только всадники-казаки.

Панов простолюдины в руку чмокают. Паны простой люд канчуком вытягивают.

Национальность — только украинцы да украинизированные немцы.

— А как же вы так,— спрашивает Вишня,— устроились? Кто вам помог?

— А это,— говорят,— друзья наши, гестаповцы. Потому как это наш рай, самостийный и ни от кого не зависимый...

— А кто ж директором у вас?

— Вакансия. Ждем нашего дорогого потомка старинного казацкого рода Гитлеренко.

¹ Бешиха — рожа, воспаление.

— А-а! Ну, тогда и я здесь останусь,— говорит Остап.— Всю жизнь мечтал панам руки целовать. На земле не довелось, хоть в раю натешусь.

И живет теперь Остап Вишня в раю, в карты играет и дикую редьку-свербигу ест.

Вот самая что ни на есть правдивейшая правда о подлинном Остапе Вишне.

А что ж это за Остап Вишня, который и теперь в большевистских газетах пишет?

— Ну, ясно,— это большевистская фальшивка.

По паспорту настоящая фамилия теперешнего Остапа Вишни «Павел (через ять) Михайлович Губенков». Из Рязанской области, хотя некоторые утверждают, что он в действительности из Вильнюса и что мать его — польский ксендз, а отец — знаменитый еврейский цадик. Последние сведения не проверены. Внешне он выглядит так: рыжая бородка клиншком, весь в лаптях, три раза в день ест тюрю и беспрестанно бренчит на балалайке, припевая: «Во саду ли, в огороде».

Как напишет что-нибудь в газету, сразу бежит к Днепру и пьет из Днепра воду: Днепр хочет выпить.

Вот кто такой нынешний Остап Вишня.

...Выпьем... извиняйте... помолимся, господа, за упокой душеньки великомученика Остапа Вишни.

Да будет ему земля пером!

Самопишущим.

1945



Прошлое и настоящее

знаменитое (ох, и знаменитое же!) правление знаменитых украинско-немецких националистов и их знаменитые (ох, и знаменитые же!) идеологи системы Донцовых, Маланюков и других донцово-маланюковатых и губами, и зубами, и перьями голосили:

— Назад! В XVII столетие! Вот там наши рыцарские, наши национальные, там наши такие-сякие традиции! Что теперешнее? Что современное? Вот тогда были рыцари, а мы их наследники!

Чьи они наследники, мы уже знаем. И вы все хорошо знаете!

Прапрапращур их — пан Иуда Искарриотченко. Это их, как бы сказать, родоначальник.

От него все и пошло.

Тридцать сребреников — это их идеология и философия.

Мы сейчас не об этом.

Хочется поговорить о прошлом и настоящем.

Ясно, что никто прошлого не зачеркивает и никто прошлого не перечеркивает.

Прошлое прошло. Было и отошло.

Было прошлое славное, о нем вспоминаем с гордостью.

Было прошлое плохое — за него краснеем.

А вот наряжать настоящее в одежды XV или XVII столетия... Давайте подумаем, что из этого выйдет.

Возьмем, например, трактор.

Может, и найдется где-нибудь неполного ума человек, который станет кричать:

— Не хочу трактора! Хочу соху!

— Такого человека лечить нужно, — скажет каждый.

Мы за трактор! Да и вы тоже все за трактор.

Так вот и представьте себе тракториста в широченных, как море, синих штанах, в высокой бараньей со шлыком шапке и с трубкой в зубах.

Подходит такой тракторист к трактору и поет:

Ой, пахал мужик у дороги,
Да волы у него круторог,
Гей, цоб, цабе — рябой,
Тр-р-р-р!

Правда, здорово получается?

Но это еще не все!

На первом же шагу будет авария.

Как только возьмется такой тракторист заводить трактор, нате вам: мотор — «г-р-р-р!» Пускатель (или как его там?) цепляется за широченные, как море, штаны и вырывает мотню. Трактор стоит, работы нет.

Вот вам и попробуйте нарядить современное в старую традицию!

Даже для самостийной державной дырки широкие штаны не подходят, цепляться же будут, если в ту дырку прятаться или, оглядываясь, из нее вылезать.

Много можно привести подобных примеров.

Каждый нормальный человек понимает, что «всякому овощу свое место»... Но это же нормальный человек понимает...

Прошлое прошло.

В настоящем живем и работаем.

А думаем о будущем. О нашем будущем, счастливом, свободном, в свободной семье советских народов, в Советском Союзе.

1947



„На нямке кортень“

ласка...

сть на свете такой себе небольшой зверек —

Прековарнейшая и хитрейшая зверюшка...

Подкрадывается незаметно к намеченной жертве и даже будто отворачивается от нее, а потом на жертву — прыг! — и укусила...

А если жертва зазеваается, то ласка может ее и загрызть.

Ласка живет во многих странах — по дворам, в конюшнях, сараях и пр.

Летом она рыжевато-бурой масти, с белой грудкой, а зимой вся беленькая.

Это так называемая мимикрия — приспособляемость зверей и птиц к колеру окружающей природы.

А в Англии живет не ласка, а Ласки...

Это не зверек и не животинка, а профессор — Гарольд Ласки.

Водится он не в конюшнях или амбарах, а пребывает в лейбористской партии, где еще недавно был председателем исполкома.

Он тоже подвержен мимикрии и в случае надобности приобретает якобы рабочую окраску.

Дома, по вечерам, он становится перед зеркалом и критически осматривает фрак и цилиндр, затем зовет свою супругу:

— А ну-ка посмотри, миледи Пистинет, пышный из меня лорд получится или не пышный из меня лорд получится?

Миледи Пистинет со всех сторон его оглядывает, потом сдвигает цилиндр несколько набок:

— Вот так, Гарольдуша, будет, пожалуй, более лихо! А вообще такой лорд из тебя получится, такой лорд, что лордше на самом Пикадилли не выпикадилишь! Бивербрукчеё самого лорда Бивербрука!

А если нужно идти к рабочим, тогда вместо фрака и цилиндра надеваются одни подтяжки, супругу зовут уже не миледи, а просто миссис, себя же Ласки возбраняет называть не то что лордом или сэром, а даже мистером.

— Зови, миссис Пистинет, меня товарищем. Рук я сегодня мыть не буду, чтоб чернее выглядели, да мазни-ка меня сажей под носом, будто я прямо с производства.

И только после этого отправляется к рабочим.

Примимикрился Гарольд Ласки и к Советскому Союзу, когда приезжал к нам во главе делегации лейбористской партии...

Прикинулся святым да божьим...

А по возвращении в Англию сразу же прыг на Советский Союз, на его жизнь, и давай кусаться...

Загрызть Советский Союз Ласки не удастся—не такие кусали, да не закусали, а суть свою Ласки проявил полностью, целиком доказав тождественность со своей тезкой—коварнейшей и хитрющей лаской.

Вернувшись в Англию, Ласки написал книгу о Советском Союзе.

Называется она «Размышление о революции нашего времени».

Вначале он пишет в своей книге о том, что миллионы людей получили доступ к культурным ценностям; отмечает колоссальный культурный уровень многочисленных национальностей Советского Союза, которые до Октябрьской революции не имели даже своей письменности; перечисляет огромнейшие достижения Советского Союза, о которых капиталисты не могут и мечтать...

Выходит, значит...

Для каждого логично мыслящего человека понятно, что все, что дала народам Советского Союза социалистическая революция, большевистская партия и Советская власть,— все это результат народовластия, широчайшей и глубочайшей демократии и социалистической системы, которая всемерно поддерживает творческий почин и дерзания народного гения.

А что говорит Ласки?

А Ласки говорит, что все достижения народов Советского Союза — результат того, что Советская власть отменила все демократические учреждения.

Власть — народная. Народы достигли колоссальных успехов, потому что нет... народа.

Ибо, если, как утверждает Ласки, Советская власть упразднила все демократические учреждения,— значит, в тех учреждениях нет народа...

Народы достигли, и народов нет.

Надо полагать, что Ласки уже и до того додумался, что «демос» не народ, а одни только директора банков и правительство его величества...

Очевидно, когда Ласки путешествовал по Советскому Союзу, он услышал, как одна баба пела:

Потому я тебя полюбила,
Что на пятке — перстень...

Это песня шуточная.

А профессор Ласки принял ее за высшее достижение человеческой логики...

Лорд из профессора Ласки, пожалуй, и получится.

А вот демократа из него не выйдет...

Логика его уж больно на лордовскую смахивает...



Дылда

Жил на свете этакий Дылда Тимош Иванович.

Такое уж у него прозвище — Дылда.

Когда организовался в его селе колхоз, Дылда Тимош Иванович сильно закрутил носом и сказал своей жене Салимонии Филипповне Дылде:

— Гуртовое — чертовое!

И остался тогда Тимош Иванович Дылда единоличником.

Ну, что ж: единоличник, если он честный, если он выполняет все, что требуется от честного советского гражданина, — единоличник у нас все гражданские права имеет.

Не дошло, значит, еще до сознания человека, что коллективный, артельный труд выгоднее, полезнее, — что ж, пусть хозяйничает единолично, — когда-нибудь поймет, где лучше — в артели или в единоличном хозяйстве.

О Тимоше Дылде мы бы не сказали, что до его сознания что-то не дошло.

Волчьи думы сидели в голове у Тимоша Дылды: «А может, это ненадолго?..»

Колхозы росли, развивались, богатели, а колхозники жили себе да поживали.

Поглядывали колхозники на единоличника Тимоша Ивановича Дылду да посмеивались:

— Ну, живи на здоровье! Нам что, дылдой дальше.

Получилось, значит, оно не «ненадолго», как думал Дылда, а совсем наоборот — навсегда.

Вот как-то вечером, когда Тимош Иванович Дылда и Салимония Филипповна Дылда (детей у них не было) сели ужинать, Тимош Иванович Дылда и говорит Салимонии Филипповне Дылде:

— Салимония!

— Га?

— Что это бишь я хотел тебе сказать? Вот забыл.

— Может, кваску принести?

— Да какой там квас. Не в этом дело!

— Может, где зачесалось?

— Ох, зачесалось! — даже вскрикнул Тимош Иванович Дылда. — Ох, и зачесалось, да только не с той стороны!

Замолчал Тимош Иванович Дылда. Сопела Салимония Филипповна Дылда. В хате было тихо.

— Салимония! — неожиданно промолвил Тимош Иванович Дылда.

— Га?

— Видно, в колхоз записываться надо?!

— Ой! — простонала Салимония Филипповна.

Вскочила с места, подбежала к печи, отскочила от нее, бросилась к горшкам, от горшков в угол, схватила для чего-то ухват и начала ухватом поднимать лежанку... Потом схватила корыто, поставила на квашню, квашню с корытом поставила на помойницу, села в корыто и еще раз:

— Ой!

Тимош Иванович Дылда вскочил и не своим голосом крикнул:

— Салимония, сядь!

— Я уже сажу!

Одним словом, в колхоз Тимош Иванович Дылда и Салимония Филипповна вступили.

Вечерами они сидели друг против друга, глядели друг другу в глаза и кивали головами.

Салимония Филипповна утирала платочком глаза, а Тимош Иванович скрипел зубами.

Посидят вот так друг против друга, потом Тимош Иванович приказывает:

— Стели!

Салимония Филипповна стлала постель.

Потом они ложились спать.

Не спалось.

Салимония Филипповна Дылда спрашивала у Тимоша Ивановича Дылды:

— Чего это ты не спишь, Тимочка?

— Думаю!

— О чем же ты, Тимочка, думаешь?

— Думаю, где бы этих чертовых трудодней раздобыть!

И долго-долго не могли уснуть Тимош Иванович Дылда и Салимония Филипповна Дылда.

Время шло. Колхозы росли, разрастались. И трудодней же было у честных работающих колхозников! Сколько трудодней!

Осенью, бывало, к таким колхозникам, у кого много этих трудодней, громыхая, подкатывал грузовик, а на грузовике мешки, а в мешках зерно.

— Забирай, товарищ честной, забирай трудодни свои!— кричал хозяину шофер.— Распишись в квитанции да пеки пироги.

— Ой, пошли тебе бог доли, счастья!— говорил хозяин.— Помоги хоть выгрузить!

— Подмогнуть можно!

— А на пироги, будь добр, забегай.

— И забежать можно!

Как только Тимош Иванович Дылда и Салимония Филипповна Дылда вступили в колхоз, начали они очень сильно прихварывать.

Невмоготу просто!

Как на работу идти, Тимоша Дылду что-то как схватит за поясницу — ну ни пошевелиться, ни разогнуться.

— Вот здесь! Вот дайте руку, я вам покажу! Вот тут, вот тут! Ага-ага! Ой! Чуть только что потяжелее возьму, вилы ли, лопату, сразу как кольнет! Криком кричу! Бабка Волосиха наказывала: тяжелого — боже сохрани! На что уж хлеб — и тот вредит! Как от целого каравай починаю, да ежели еще с куском сала, — колет! Так колет, что в глазах желтые круги

идут. Я уже и не знаю, что делать. Бабка Волосиха — а она баба дошлая! — говорила, что это какая-то очень сурьезная мужская болезнь!

Когда Тимоша Иванович Дылду хватало за поясицу, то Салимонию Филипповну Дылду, наоборот, давило вот тут — под ложечкой.

— Подкатывает, подкатывает под грудь, а потом как придавит. В глазах у меня, словно курочка пестренькая, рябит-рябит-рябит, а потом вроде как расплывется... А я и не знаю, жива ли, или мертва! А потом пошло-пошло-пошло — извините — все вниз! Бабка Волосиха — а она баба дошлая! — говорила, что это очень сурьезная женская болезнь.

Очень сильно хворали Дылды — и Тимош Иванович и Салимония Филипповна.

Отпускало их только тогда, когда надо было в город ехать: яички везти, или масло, или картошку.

Долго держалась у Дылд такая болезнь.

За целый год трудней у них набиралось порядочно: у Тимоша Ивановича Дылды деньков этак тринадцать, а у Салимонии Филипповны дней не меньше одиннадцати...

Ну и что?

А ничего! Выгнали Дылд из колхоза.

И хорошо сделали.

1948



Росевники

Близился Новый год, близился январь наступающего года, приближались отчетно-выборные по колхозам собрания.

Один председатель одного колхоза, одного района, одной области ждал Нового года охотно, радостно, с гусем,

с пирогами, с холодцом, с чаркой, с семьей, с гостями, с нетерпением, с энтузиазмом.

— Не переборщили, часом?— подсчитывая все подготовленное к встрече Нового года, спросила жена того одного председателя.

— Поедим!— решительно пробасил председатель колхоза.

— И выпьем!— присовокупил жидким тенорком кладовщик того же колхоза, живший в одной хате с председателем. Он зашел к нему в комнату на предмет разъяснения некоторых вопросов, беспокоящих самого кладовщика.

А именно:

— Чего ради так медленно эта встреча Нового года наступает? И почему бы вам, собственно, не приступить к этой самой встрече хотя бы тридцатого декабря? Потому как довольно нам уже коснеть в тенетах старых традиций! Пора уже, как повсюду, ломать старые нормы. Это раз. А во вторых, пироги уже готовы, холодец застыл. А что еще, гусь не зажарен? Эка беда—пока холодец поедем, гусь дойдет! Тридцатого б начали, оно б и показывало воочию, что встречаем мы Новый год активно, а не так шалды-балды. Как по-вашему?

Жена не согласилась:

— Встретим, как все,— тридцать первого. Идите да кваску после вчерашнего попейте! Хоть бы на один день повысыхали! Срамники!

О предстоящем отчетно-выборном собрании председатель с кладовщиком говорили не с такой горячностью, ждали его без всякого энтузиазма, и, что касается этого собрания, никак им не хотелось нарушать нормы времени с целью их ускорения.

— Как же оно с тем собранием получится?— уныло поинтересовался кладовщик.

— А как?— утрово ответил председатель.— Встретим Новый год, отпразднуем рождество, а тогда— коняг в арбу, все, что в хате,— на арбу—и в район. Как пить дать, после собрания навряд тут удержусь...

— Да оно, пожалуй, так. С апреля ни одного колхозного собрания. Хозяйство!

— Да не поминай ты про хозяйство!— махнул рукой председатель...

— А выпито сколько? А съедено из колхозной кладовой сколько? А оно ж, беспрерывно, и ревизия будет!— докучал кладовщик.

— Да помолчи хоть ты! И без тебя найдется кому пилить!— перебил его председатель.

— Ну, да, вы— в район; известно, район не преминет вас куда-нибудь в другой колхоз рекомендовать, как в минувшем году... Там провалили, к нам привезли! А я как же?

— Меня пристроят, тогда и ты ко мне перейдешь!

— Эх, кабы только с кладовой!

— Там своя кладовая будет.

— А не знаете, в какой колхоз вас повезут?

— Разве угадаешь? Где примут! Народ нынче куда разборчивее стал. Ну, ничего. Авось куда-нибудь да сунут.

— Известно, сунут! Народ у нас в районе энергичный.

— И вообще не тужи.

Прочитали мы вышеизложенное одному знакомому колхознику: бывает ли, дескать, такое на белом свете? А тот сразу:

— Так это ж вы о председателе колхоза «Жовтень» Таращанского района Киевской области Потеряйко!

— Разве?

— Факт! Так его и возит районное руководство из колхоза в колхоз! Из одного колхозники вытурят за непригодность— другому сосватают! Там нахозяйничает до ручки, ни тпру ни ну,—его в другой везут. Так и кочует с места на место. Прошлым годом Потеряйко был в «Коммунисте», а в этом году— в «Жовтне». У кладовщика и живет, а из кладовой все без ордера тащит. Ну, не в бровь, а прямо в глаз!

— А в районе разве не знают?

— Какое там не знают? Знают! Сами же и возят!

Убедившись, что наш знакомый колхозник весьма сведущ в этом деле, мы его спросили:

— А в других районах так бывает?

— Ну, не столь уж часто, однако, к сожалению, водится,— ответил мудрый колхозник.

— Что же делать?

— Да я уже,— говорит,— и сам об этом думал! Оно само по себе должно прекратиться. Ведь узнают же в конце концов все колхозы в районе о таких кочующих председателях, и уже нигде не станут их принимать. А людей жаль... По-моему, следовало бы организовать междурайонный обменный пункт для подобных председателей... Чтобы район с районом менялся такими горе-кочевниками. Можно и в придачу давать...

— Да вы ж изобретатель!

— Только вот директором такого обменного пункта назначить следует областного прокурора!

— Ох, и молодец!— пожали мы руку мудрому колхознику.

1949



Несчастливая любовь



Иван Федорович Мороз и Вера Ивановна Снежко только что окончили сельскохозяйственный институт, и теперь Иван Федорович Мороз — агроном, а Вера Ивановна — зоотехник.

Здесь как раз уместно было бы описать, какие у Веры Ивановны косы, какие глаза, какая у нее чудесная душа, а у Ивана Федоровича — густые и красивые волосы, — они даже выются! — и какой он, Иван Федорович, стройный, широкоплечий и сильный, какой мужественный, и как они поют на два голоса, и как, одним словом, Ваня любит Веру, а Вера — Ваню, — такую бы симфонию развести, да нельзя их задерживать, им надо в МТС ехать, ведь колхозы ждут специалистов.

Симфонией мы займемся в другой раз, а сейчас ограничимся сообщением, что они, получив дипломы, сразу же отправились в загс, расписались, крепко поцеловались (им, между прочим, и до этого случалось целоваться) и стали упаковывать чемоданы...

Упаковались, еще раз поцеловались и поехали на вокзал. На другой день к полудню они были уже на станции, от которой до МТС пятнадцать километров.

На станции к ним подошел дедок в свитке, с кнутиком (не свитка с кнутиком, а дедок!) и спросил:

— Вы, случайно, не в МТС? Здравствуйте!

— Здравствуйте, дедушка!— отвечали Иван Федорович и Вера Ивановна.— Да, мы в МТС!

— Так скорей садитесь, а то она не стоит!

— Кто не стоит, дедушка?

— Кобыла! Она у нас норовистая.

Иван Федорович и Вера Ивановна живо подхватили чемоданы и— к повозке.

Уселись, дед щелкнул кнутиком:

— Но!

Поехали.

— Так кто ж вы такие будете?— спрашивает дед.

— Я агроном,— отвечает Иван Федорович.

— А я зоотехник,— говорит Вера Ивановна.

— Так мне и сказано! Поедешь, сказано, и забереешь на станции специалистов: агронома и зоотехника. Значит, угадал. Но, ты, мадама!— щелкнул кнутиком дед.— Да... Завертелось у нас теперь! Ох, и завертелось! В каждом колхозе, сказано, будет и агроном, и зоотехник, и ветеринар... Культурно, сказано, хозяйничать будем! По науке... Только я вас упреждаю: не знаю, как вам, агроному, у нас будет, а вот вам, зоотехнику, трудновато придется... Да...

— А почему трудновато, дедушка?— вспыхнула Вера Ивановна.

— А потому трудновато, что вы вроде женщина, а бугай у нас очень строгий. Дьявол, а не бугай!

Вера Ивановна громко рассмеялась.

— А вы не смейтесь! Он, ирод, как сорвался тут в воскресенье с цепи, а я как раз шел к Пилипу, к Кануперу,—кумом он мне доводится, он в субботу кабана заколол,—так бугай, ирод, как выскочит из коровника, как заревет, а потом меня увидел—и на меня. Бежит, хвост бубликом, ревет. Ну, думаю, ни печали мне, ни воздыхания... Глядь, а у Олениной хаты лестница стоит—Олена в субботу трубу мазала,—я по лестнице на хату... Он подбежал да лестницу лбом—хрясь! А я уже за трубу держусь... Лестница—пополам, стоит, ирод, у хаты передними ногами землю роет и ревет... Часа три я аистом на хате сидел, а Илько, что к бугаям приставлен, куда-то аж в тот конец к дочке отправился. Вот так и сидел я, за трубу уцепившись, до той самой поры,

пока Илько не вернулся да не загнал его, ирода, в коровник. Да еще смеху было, когда без лестницы с хаты слезал. А все через ту ребятню. Посбегались и командуют: «Вы, дедусь, надуите штаны да вроде как на парашюте...» Вредная детвора, все она теперь знает, что там за парашюты, что там за ракеты, что за атомы... Ничего от них не скроешь... Да... Доплелся это я до Пилипа Канупера, до кума, а там кендюх уже поели, литру выпили, кума спит, а кум сидит да «Ах, не вейтесь, черны кудри» распевает... Вот вам и бугай! А вы смеетесь! Народ у нас в колхозе — хороший народ, с людьми вы сразу столкнетесь, а вот с бугаем — дело серьезное...

— Ничего, дедушка, я и с бугаем как-нибудь договорюсь,— засмеялась Вера Ивановна.

— Договорись с ним, с дьяволом, когда он ревет, как... У нас когда-то дьякон вот так ревел. Как рявкнет, бывало, апостола, так юбки у молодежи, словно от ветра, хлопают. Ну, дьякон хоть ногами не бил, а этот ревет и ногами землю роет... Черт, прости господи! Одним словом, как говорится, животноводство! Но, ты, замечталась!— крикнул дед на кобылку.— А знаете, как нашу кобылку зовут?

— Как, дедушка?

— Новелла! Был у нас тут еще один, как бы сказать, не зоотехник, а вроде практикант, все стишки писал. Новеллою лошадку прозвал. А что оно такое, я уж вам и не скажу.

— Это из литературы, дедушка!— объяснил Иван Федорович.

— Могло быть! Дюже норовистая и дороги не держится. Могло быть... Ну, вот и наша МТС... Как бы сказать, доехали...

В отдалении раскинулась обширная усадьба МТС.

Директор МТС встретил Ивана Федоровича и Веру Ивановну очень приветливо:

— Вот и хорошо, что приехали! Оставьте анкеты и жарьте в колхоз «Звезда». Так и работать будете вместе. Чтоб вас не разлучать, молодую чету, мы вас обоих в «Звезду» и назначили.

Он тут же сказал деду:

— А вы, дед, не удирайте! Отвезите специалистов к себе в «Звезду». Они у вас и работать будут.

— Да мне об том уже сказано!— отвечал дед.

До «Звезды» от МТС двенадцать километров.

Председатель колхоза уже поджидал молодых специалистов — директор МТС позвонил ему, что они выехали.

Колхоз тоже очень радушно принял Ивана Федоровича и Веру Ивановну. Их уже ждал отдельный домик из двух комнат.

— Рад приветствовать вас, как говорится, в вашей хате, — сказал им председатель колхоза. — Устраивайтесь. Будем работать. В час добрый. Только вот что, дорогие товарищи, вы приехать не успели, а вас уже ждут телефонограммы — одна из МТС от главного зоотехника, а другая из райсовета. Завтра в десять часов агроному надо быть на совещании в райисполкоме, а зоотехнику в МТС. С утра и выезжайте.

— Да мы же с хозяйством еще не ознакомились...

— Приказ, товарищи, есть приказ!.. Очевидно, там, в районе и в МТС, вам дадут директивы, как вам тут следует у нас хозяйничать.

На следующий день Иван Федорович рано утром выехал в район, а Вера Ивановна в МТС.

В районе проходило совещание колхозных агрономов. На повестке стоял вопрос: «Подготовка к весенней посевной кампании».

Первое слово председатель предоставил агроному колхоза «Звезда» Ивану Федоровичу Морозу.

— Только вы, товарищ Мороз, докладывайте поподробнее, поделитесь своим опытом.

Иван Федорович поднялся и сказал:

— Я только вчера вечером приехал в колхоз «Звезда», еще не успел и по колхозу пройти — вот и весь мой опыт.

— Так... Ну, тогда послушайте других, набирайтесь опыта у товарищей.

Четыре дня заседал Иван Федорович в районе.

А Вера Ивановна в это время работала в МТС.

— Вот и отлично, что приехали, — встретил ее главный зоотехник МТС. — Ну, как там у вас, в «Звезде», с коровами? Обеспечены ли вы племенными производителями?

— Я только вчера приехала в колхоз, еще не успела и на ферме побывать, но слышала, что в колхозе есть какой-то очень строгий бугай. Дед-возница рассказывал... Вот и все, что я знаю о производителях в «Звезде», — ответила Вера Ивановна.

— Ну, ладно! Директив тут и циркуляров разных скопилось целая гора. Садитесь да под копируку и переписывайте, нужно по колхозам разослать...

Пять дней Вера Ивановна переписывала в МТС бумажки. Когда она возвращалась домой, встретила Ивана Федоровича, которого вызывал в МТС главный агроном.

Встретились в дороге, поздоровались.

— Ты домой?—спросил Иван Федорович.

— Домой!—ответила Вера Ивановна.— А ты?

— А я из дому! В МТС вызывает зачем-то главный агроном.

— Надолго?

— Не знаю.

— Ну, не задерживайся! Возвращайся скорее! А как там у нас на новоселье?—полюбопытствовала Вера Ивановна.

— Ну что я могу сказать? Вчера поздно вечером вернулся из района, а сегодня утром уже вот еду в МТС... Спалось ничего.

Когда Иван Федорович вернулся через несколько дней из МТС, он не застал Веры Ивановны дома, в колхозе «Звезда»: ее вызвали на совещание в район.

А когда возвращалась Вера Ивановна из района, она встретила Ивана Федоровича: теперь он ехал в район на очередное совещание...

А когда вернулся Иван Федорович в «Звезду», Вера Ивановна выехала в МТС: опять все колхозные зоотехники переписывали очередной поток директив и циркуляров...

Приехала Вера Ивановна в «Звезду», а Иван Федорович выехал в МТС—по дороге они разминулись.

Вечером Вера Ивановна пошла в правление и позвонила по телефону, вызвала Ивана Федоровича.

— Я слушаю!—подошел к телефону Иван Федорович.

— Это я говорю, Вера!

— Что случилось, Верочка?

— Ваня! Ты меня любишь? Скажи хоть по телефону. Встретиться нам, очевидно, не придется... Любишь, Ваня?

— Люблю, Веруся, очень люблю! Еще, должно быть, на неделю директив переписывать! Ей-богу, люблю!

Вера Ивановна пришла домой грустная, уселась на крыльцо и запела:

Такая уж доля... О боже мой милый,
За что, молодую, караешь ее?

— Чего ж невеселую?—остановился у ворот дед-возница.— Доброго вам вечера! Председатель просил сказать, что вас завтра в район вызывают! Я вас на Новелле и отвезу.

Закручинились? А вы не горюйте. Было и со мною так смолоду. Поженились мы, а я тут и загулял... То на хутор, то на другой конец... Глядела моя Оришка, глядела — да за макогона: «Это ж доколе я одна зорю встречать буду?» Бить, как бы сказать, не била, а раза три здорово промеж лопаток вытянула. Такая потом любовь пошла...

— Тогда, дедусь, циркуляров не было!

— Правда, не было. Чего не было, того не было! Циркулярами не замахивалась! Макогоном — было, а циркулярами — нет! Что нет, то нет!

Утром Вера Ивановна выехала на Новелле в район...

А вечером вернулся Иван Федорович. Присел на крылечке, да и запел:

Ой, я несчастный,
Что буду я делать?
Полюбил дивчину...

Соединятся ли когда-нибудь дома наши молодожены — Иван Федорович и Вера Ивановна?

Поживем — увидим...

1954



Дедав прогноз

Случилось это в субботу вечером, под воскресенье, а может, в пятницу вечером, под субботу, — это, право, не так и важно. Главное — случилось это зимой.

Немало уже выпало снега, а он все еще идет и идет.

Председатель одного колхоза Махтей Федотович приказал сторожу:

— Позови-ка мне деда Тимоша!

— Которого? — спрашивает сторож. — У нас два деда и оба Тимоши.

— Глухого.

— Так они ж оба глухие.

— Разве и второй уже оглох?

— Оглох. Еще летом, когда буря была. Вот тогда так страшно громыхнуло, что он и оглох.

— А я и не знал,— говорит председатель.— Ты мне того позови, который уже давно не слышит.

— Так его, пожалуй, и с печи не стащишь. Он никогда с нее и не слезает.

— А ты не тащи, а ладненько к нему, ладненько. Скажи, что председатель, мол, просит в правление пожаловать. Дело, мол, важное есть.

Пошел сторож кликать деда Тимоша. Известно, в хате он только одного его и нашел. Лежит, конечно, дед на печи.

— Доброго здоровья, дедушка!

— Га? — спрашивает дед Тимош.

— Здравствуйте, дедушка! — кричит что есть силы сторож.

— Ага! — отвечает дед Тимош.

— Голова, Махтей Федотыч, просит в правление пожаловать! — надрывается сторож.

— Что скажете? — спрашивает дед Тимош.

— Голова правления кличет. Голова! — кричит сторож, посинев от натуги.

— Голова, говорите? — переспрашивает дед Тимош.

— Эге! Голова, председатель, значит...

— Голова, говорите? Нет, голова не болит. Ноги гудят да в поясище колики. А голова — нет. Голова у меня — ого!

Долгонько пришлось сторожу разговаривать с дедом Тимошем, покуда тот уразумел, чего от него хотят.

В конце концов спустился дед Тимош с печи, надел все, что дедам полагается надевать зимой, взял палку и вышел из хаты.

— Что это так белеет кругом? — спрашивает дед.

— Снег, дедушка, — отвечает сторож.

— Га? А по-моему, снег. Когда же это насыпало его столько? Я в покров, помню, на завалинке сидел, так никакого снегу еще не было.

— Правда, дедушка, в покров еще не было, — подтвердил сторож.

— Э, ты мне не говори! Я говорю, что не было! Не было, не было! Я все помню. Чтоб я да не помнил? Ого-го!

Председатель правления Махтей Федотович очень приветливо встретил деда Тимоша:

— Здравствуйте, дедушка! Садитесь! Что-то вы давненько к нам не заглядывали.

— А?

- Не заходили, говорю, давненько!
- Так, так, живу помаленьку.
- Заходить к нам, говорю, перестали.
- Да, внуки повырастали, все уже повырастали.

Помолчали.

— Дедушка,— обратился Махтей Федотович к деду Тимошу,— немало вы на свете прожили. Как, по-вашему, ежели вот так снегу выпадет много: к урожаю это или к неурожаю?

— Га? — переспрашивает дед Тимош.

— К урожаю или к неурожаю, ежели снегу много,— кричит Махтей Федотович в ухо деду Тимошу.— Если много снегу, говорю!

— Снегу, говорите?

— Ага, снегу!

— Про снег, говорите? На покров не было. Что не было, то не было!

— Да я не про то, я про урожай! — надрывается Махтей Федотович.— Ежели снегу много, то к чему это: к урожаю или к неурожаю?

— Га? — снова переспрашивает дед Тимош.

Наконец с помощью всех присутствующих Махтею Федотовичу удается толковать деду Тимошу, чего от него хотят.

— Ага! Так бы и говорили,— кивнул головой дед Тимош.

— Ну, так как, по-вашему, дедушка?

— К урожаю это, к урожаю, говорю! Потому, как помнится, когда еще покойный мой батька вернулся домой из-под генерала Скобелева, так снегу было по пояс, если не выше. Ух, и снегу ж того было! Ух, и снегу! Выйдешь, бывало, извиняйте, из хаты, так потом дверь не откроешь, хоть плачь, так снегом заваливало! Был у нас пес, Серком прозывался. Злющий был кобель. Таких кобелей нету теперь. На цепи сидел. И покойный батька его к верхушке дерева привязал, чтоб в снегу не утоп. Так, помню, в то лето такие арбузы уродились. Ох, и арбузы! Таких теперь не бывает. Самый меньший, что решето. Ты к нему еще и ножиком не притронулся, а он — хрясь. И как жар! С той поры и покойный батька мой такую примету запомнил и мне сказал, чтоб не забывать, что ежели снегу много, так это беспреренно на урожай...

— Ну, спасибо вам, дедушка,— говорит Махтей Федотович,— спасибо за совет. Большое спасибо. Устали, видно, так идите с богом!

— Как говорите?

— Спасибо, говорю, идите, говорю, с богом.

— Так, так, где боком, а где и прямиком пройду... Будьте здоровы!

Спустя несколько дней Махтей Федотович собрал членов правления и актив колхоза.

Обсуждали план подготовки к весеннему севу. Долго высказывались. В конце заседания Махтей Федотович заявил:

— Словом, нечего вам волноваться. Дед Тимош ясно сказал: ежели снегу много, то это определенно к урожаю. Коли снег есть, значит — выскочим.

А мы Махтею Федотовичу вот что скажем:

— Махтей Федотович! Передайте деду Тимошу низкий поклон за его долгую трудовую жизнь. Постарайтесь, чтобы ему было тепло на печке. И не заставляйте деда без надобности слезать с нее. На приметы иногда обращать внимание надо. Однако наилучшая наша советская примета — настоящая борьба за урожай. Для этого следует своевременно и хорошо провести сев. Для этого нужно... Однако об этом лучше всего сказано в постановлении партии о подъеме сельского хозяйства. Вот на это постановление и обратите внимание и выполняйте его.

Тогда наверняка «выскочите»!

1947



Про механизацию

I

Мой давно уже покойный дед Кондрат, лебединский сапожник, рассказывал нам сказки только в летнюю пору и только по субботам.

В субботу под вечер он самолично относил хозяину готовые головки (между прочим, лишь одну пару каждую субботу).

Наряжался поверх рубахи в жилетку, подпоясывался ремешком, натягивал сапоги, надевал шапку, брал в руки посошок, головки под мышку — и со двора. Уходил он, когда бабка сворачивала за угол, направляясь через площадь в церковь. Возвращался — бабки еще не было дома, — шапка набекрень, глаза блестят. Каждому из нас он совал по маленькому бубличку.

— Ну, детки, на дерюжку под грушку! Сказочки буду сказывать.

Мы все, бывало, вприпрыжку на рядно, дед вынесет табуретку, сядет и начнет:

— Расскажу я вам, детки, вот что... Не было тогда еще ни неба, ни земли, одни голые пни торчали. Людей еще тоже не было, а на самом страшном пне сидела ваша бабка, одна-одинешенька во всем свете, сидела и ругалась.

Дед замолкал, голова его падала на грудь, и он погружался в сон, не забыв перед тем наказать нам:

— Как бабка подойдет ко двору, толкните меня!

— Ладно, дедушка!

Сидел дед, дремал.

— Дедушка, бабка! — будили мы деда, как только бабка бралась за щеколду.

Дед выпрямлялся и, будто продолжая сказку, произносил громким голосом:

— Вот дьявол и говорит...

Бабка сразу же, от ворот, накидывалась:

— Где, ирод, деньги?

— А что еще дьявол может сказать? — отвечал дед и давал нам еще по бубличку. — Играйте, детки, сами, перебила бабка сказку, пойду-ка я вздремну.

Дед вставал, брал табуретку и шел в хату, выводя в полный голос:

— Начинается смяте-е-е-ние!

Смятение начиналось уже в хате, но нас это не касалось, мы играли на улице или в саду...

И так каждую субботу.

Очень мы эти субботы любили.

Да и теперь, на старости лет, люблю я рассказывать всякую всячину: осталась, выходит, эта любовь от дедовых суббот.

Расскажу я вам не сказку, а быль-бывальщину.

Слушайте.

Уже были тогда и небо, и земля, были и пеньки, случалось, что и бабки на пеньках сидели и тоже крепко бранились.

А вот панов уже не было. Чего не было, того не было.

Колхозов было еще мало, да и назывались они чаще коммунами.

Не было еще ни Посмитных, ни Дубковецких, то есть на свете-то они были, но не стали еще такими прославленными хозяевами.

Не было тогда ни Паши Ангелиной, не было Александра Гиталова, ни других наших знаменитых механизаторов, не было, само собой, и МТС.

А была ли механизация сельского хозяйства?

Была! Да еще какая механизация!

Как вспомнишь! Как вспомнишь! Сколько этих машин было! Как вспомнишь — закачаешься!

Тракторы?

Были!

Был трактор в одну лошадиную силу! Был и в две!

А то были еще смешанные: две лошадиные силы и одна коровья! Две воловь и одна лошадиная.

Были и в две чисто воловь силы...

Довелось даже видеть «трактор» в одну лошадиную и в одну бычью силу.

И такие бывали.

Пашет — прямо дым идет!

«Двигатель» впереди, «регулятор» сзади.

«Двигатели» были разных «систем»: Оришка, Устя, Ванько, Пилип, Кондрат.

«Регуляторы» назывались примерно так же.

«Регуляторы» славные: нажмет — три вершка вглубь, отпустит — два с половиной.

Вот только на глубокую пахоту «нажать» было трудно: харч слабоват.

«Горючего» для трактора хватало: было твердое «горючее», а было и жидкое, — собственно, не жидкое, а скорее газообразное! Газ!

К твердому относились кнутовище и прут.

Под кнутовищем и прутом и лошадиные, и воловь, и все прочие такие же силы работали здорово.

Газообразное «горючее», тоже придававшее «трактору» немало прыти, употреблялось так:

«Но! Подохла ты, что ли!»

«Цабе! Волк тебя заешь!»

«Цоб сюда! Нет на тебя погигбели!»

«Горючего» этого было в деревнях неисчерпаемые залежи.

Пахота, как видите, была вполне механизирована.

.....

Надо вам сеять? Пожалуйста! В каждом дворе сеялка. На один «севальник».

Когда сеять надо, он — севальник. Когда рожь на мельницу везти, он — мешок. Когда после обеда спать захочется, можно его под грушей разостлать, а не то — укрыться им. Универсальный.

Другой системы «севальники» в промежутках между двумя посевными кампаниями служили и решетом, и подрешетником, и ситом, а весной в таком «севальнике» сажали насадку на яйца.

И лошадей для этой «сеялки» не требовалось.

Подвешивалась она хозяину на шею — и «сею, вею, рассеваю...»

.....

Косилка? Жнейка?

Сама косила, сама и сбрасывала — «самоскидка».

Только не «лобогрейка», как их называют, а «всегрейка»: «грела» и лоб, и поясницу, и все остальное. С граблями.

«Двигатель» у косилки был тот же, что служил в «тракторе» «регулятором».

За «косилкой» шла «сноповязалка».

В фабричных сноповязалках снопы вяжутся шпагатом, а у нас — нет, у нас «сноповязалка» была усовершенствованная и более дешевая: сама связала вила, сама и снопы вязала.

Да к тому же еще, бывало, и поет, и ребенка кормит, и галушки варит, и ругается.

Смазывали «косилки» и «сноповязалки» салом, галушками, луком, огурцами, квасом...

До комбайна тогда еще не додумались.

.....

...Молотилки...

Были в каждом дворе! В одну силу! Исключительно паровые: как застучат, прямо пар идет.

В иных дворах бывали две, три, четыре «молотилки»!

Вот работа, так работа! Даже гудит, бывало!

Только — гуп-гуп! гуп-гуп! гуп-гуп!

Отличные молотилки.

У кулаков молотилки бывали еще и конные, да на то ж они кулаки.

А как появилась на селе фабричная молотилка — машиной мы ее звали, — паровик как свистнет!.. так сердце и замерло...

Да тут еще бабуса кричит:

— Детоньки! Машина! Все на печь!

И до сих пор страшно.

.....

...Зерноочистительные машины...

«Триеров» этих штук по семь у каждого хозяина.

Что ни девять месяцев, то новый «триер».

Сидят себе в хате на дерюжке и отбирают чистое зерно.

А весело, весело-то!

Не надо ни ручки у «триера» вертеть, ни решета менять: прошелся прутом или веником по спинам — и работают «триеры».

III

Не только в земледелии, — были, разумеется, разные «машины» и в животноводстве. Меньше значительно, однако были.

...Молочное хозяйство... В каждом почти дворе была ферма «крупного рогатого скота», где у яслей по пуп в навозе стояла эта самая крупная рогатая скотина высокопродуктивной породы Манька.

Автопоилки не было, автодоилки не было: еще не изобрели. Корма в ясли подавались особым аппаратом, носившим название «вилы-тройчатки». При помощи этого же аппарата механизирована была выгребка из-под Маньки навоза. Аппарат этот состоял из трех зубьев и рукоятки. Рукоятка использовалась также в воспитательных целях, как механизм, смягчающий характер крупного рогатого скота, при содействии афоризма: «Стой, чтоб тебе у дьявола столбом стоять!»

Для приемки молока употреблялись подойники, откуда молоко шло в особые «сепараторы», называемые кринками. В кринках молоко сепарировалось на сливки и на снятое. Хранилось в погребе. Сливки шли в употребление ежедневно под отчаянный крик хозяйки:

— Ой, спасите! Опять слизала!

Для выращивания телят самым важным приспособлением была ежиная шкурка. Из ежиной шкурки делался прибор, который привязывался теленку на мордочку, чтоб «теля не высосало». Прибор этот действовал автоматически, и с ежиком «не высасывало», а без ежика в процессе выращивания телят разыгрывались целые трагедии, которые проходили под истерические выкрики:

— Опять высосало!

Рацион крупного рогатого скота состоял из «травки», «ботвицы», «пойлица», «мучицы», из «где его, этого сена, набраться!» и так далее и тому подобное.

Самым калорийным кормом весной была «стреха».

— Уже, соседушка, и стреху пообдирали!

— Да и мы...

.....

Механизация в свиноводстве была весьма незначительна. Она включала чугуны, где свинье варилась картошка с тыквой, пест, которым все это толкло, да еще проволоочное кольцо, которое вдевалось поросенку в пятачок, «чтоб, стервец, не рыл».

...Посложнее было с механизацией в овцеводстве. Тут пользовались особым приспособлением, именуемым «фартук». Подвязывался он барану под брюхо, чтоб не лез к чужим овцам.

И когда «фартук» не помогал,— опять трагедия.

— Зарежь! Ой, зарежь барана, а то не выдержу!

— И зачем бы я стал его резать?

— Тогда меня зарежь! Ой, зарежь!

.....

Итак, как видите, старая деревня в основном механизирована была неплохо. Были машины...

А больше всего было таких «машин», что ели.

«Машин» по пятнадцать в каждой хате!

Ох, и работали же! Дым столбом! Паровые!

Теперь: тракторы (да какие!), комбайны (да какие!), сеялки, веялки, триеры, молотилки... Дизель, пар, электричество. Телефон, Телеграф. Радио. Автомашины (да какие!). Автопоилки... Механическая дойка!

Кормозапарники... Подвесные дороги... Вагонетки...

Вот и говорим: как трудно теперь на селе — сколько надо времени, пока все это изучишь?!

Тяжело!

1923—1954



Упрямая Мана

Одного ответственного работника районного масштаба, к которому попала колхозная корова «на предмет лактации молока, сливок, сметаны, масла и вареников с сыром», спросили:

— Петр Петрович! Читали вы постановление правительства о мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах?

— А как же! Конечно, читал! — ответил Петр Петрович.

— Внимательно читали?

— А как же! Очень внимательно! И не только читал, а приказал немедленно выполнить то постановление. И немедленно возвратил колхозам все, что взяли у них незаконным образом...

— Кушайте, прошу вас, вареники! Да сметанки побольше кладите! И масла не жалейте! — просила собеседников жена Петра Петровича.

— Сердечно благодарю! Прекрасные вареники и чудесная сметана! А масло просто ароматное! Из какого колхоза у вас корова, Петр Петрович?

— Хм... хм... — промывчал Петр Петрович. — Это, знаете, еще до постановления...

— Я знаю, что до постановления... Но все-таки из колхоза?

— Да знаете... Оно, конечно, из колхоза... Но ведь она же еще телкой была... Еще не коровой... Потом мы и не заметили, как она вдруг, через восемь месяцев, отелилась. Ходила, ходила телкой, а тут — глядь! — уже корова. Вы только подумайте! Какие чудеса на свете бывают!

— Выходит, однако, что и ее, вашу коровку, как незаконно взятую в колхозе следует возвратить?

— Я уж и не знаю, что делать? — развел руками Петр Петрович. — Мы взяли телку, а теперь она корова. Получается так, что мы возвращаем не то, что взяли... Вот я и думаю, подходит ли наша корова под постановление?

— Подходит, Петр Петрович, подходит.

Жена Петра Петровича протестовала:

— Как же так? За телку — корову отдавать? Несправедливо это!

— Да ведь вы же взяли ее в колхозе?

— В колхозе.

— Значит, и возвратить надо в колхоз!

— Так мы ж телку взяли, а это корова.

— Всегда так бывает, что телка в корову превращается. Надо вернуть.

— Она не пойдет! — категорически заявила жена Петра Петровича.

— Не пойдет! — подтвердил Петр Петрович.

— Кто не пойдет?

— Маня. Корова не пойдет.

— Куда не пойдет?

— В колхоз не пойдет.

— Не пойдет! — подтвердил Петр Петрович.

А жена добавила:

— Я уж Маню спрашивала: «Пойдешь, спрашиваю, Маня, в колхоз?» А она: «Му-у-у! Не пойду-у-у!»

А может быть, Манино «му-у-у» как раз наоборот означает: «Пойду-у-у!»

— Ой, нет, я уж знаю ее характер! Я все, что она вымучивает, понимаю! Не пойдет! Не хочет!

— Не пойдет! — подтвердил Петр Петрович. — У нее твердый характер.

— Тогда вы пойдете, Петр Петрович.

— Куда, в колхоз?

— Нет, за невыполнение постановления правительства и за противозаконное действие в колхоз не посылают.

— А куда?
— Не знаю. Только не в колхоз.
Петр Петрович задумался...
Задумалась и жена Петра Петровича.
Виноваты в этом не Мани.

1946



Тибен Карьеры

ТТ

точно я вам не скажу, где произошла эта страшная история—в Кировоградской или в Винницкой области...

Одни утверждают—на Киевщине, другие—на Черкасщине, а один газетный корреспондент уверенно заявил:

— Да что вы говорите? Я точно знаю: это было на Херсонщине, сам собирался писать...

Да не так уж и важно, где именно это случилось, страшно то, что такое вообще могло произойти.

Что же случилось?

Долгоносик сожрал четыре или пять карьер.

Не карьеров (от слова «карьер») — открытых разработок полезных ископаемых, а карьер (от слова «карьер») — успешного продвижения вперед, в данном случае в области служебной деятельности.

И так уничтожил чертова образина эти карьеры, что ни рожек, ни ножек от них не оставил. От двоих остались только чепчики, от третьей — голубой бант, от четвертой — пудреница и губная помада...

Словом, сожрал долгоносик все карьеры без остатка!

Карьера — это работа человека, его общественная совесть. Эта работа, эта совесть проверяются сейчас — если речь идет о людях сельскохозяйственного, агрономического труда — участием в борьбе за урожай.

Карьеры, о которых мы рассказываем, такого экзамена не выдержали.

Посеяв сахарную свеклу и кукурузу, шефы этих карьер легли немного отдохнуть, а свои карьеры отпустили погулять.

— Пойдите-ка, — сказали они, — пройдите немного, проветритесь, в пруду покупайтесь!

Вот лежат себе карьеры под вербою у пруда, в одних купальных костюмах...

Выкупались, поплавали, в водичке поплескались, лежат на солнышке, греются, загорают...

А долгоносик, уничтожив свеклу в одном колхозе, перебрался в другой, да и заметил: лежат у пруда карьеры...

Долгоносик вообще ненасытный, а тут, проголодавшись с дороги, набросился на них лютым тигром...

Карьера, лежавшая крайней у дороги, успела только вскрикнуть:

— Мамочка! Мамуленька! — и упала без чувств.

Летят резинки, пуговички, банты, болтаются бретельки, раздаётся хруст да чавканье.

Одну карьеру доедает, остальных за руки, за ноги держит.

Только одна и вырвалась, оставив в челюстях у долгоносика модельные босоножки.

Эта карьера умела плавать, она бросилась в пруд, нырнула и стилем баттерфляй махнула на тот берег...

— Окружить пруд! — скомандовал самый главный долгоносик. — Из воды вылезет, никуда не денется...

Не будем описывать тяжких страданий последней карьеры в пруду: она мерзла, нежная кожа ее превратилась в гусиную, она захлебывалась, посинела и щелкала зубами, как машинистка-стенографистка во время расшифровки и перепечатки речи известного энтомолога на конференции по борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений.

Очутившись в воде, она вспомнила всю жизнь свою и своих подруг.

Вспомнила, как родилась. Нежная-нежная, как подснежник, с еще не совсем ясными грезами, желаниями... Потом начала расти, приобретать соответствующие формы. Стали более ясными и пути роста. Родившись у молодого колхозного агронома, она последнее время уже добралась до главного агронома известной МТС... Впереди маячил пост начальника областного сельскохозяйственного управления.

А затем, затем...

Страшно подумать! Кабинет министерства!.. Даже вскрикнула: «Ох, не раздражайте грудь мою больную...»

Страшно, но зато как сладостно-приятно мечтать!

Она возмущалась тем, что ее шеф махнул рукой на борьбу с долгоносиком, пустил это дело на самотек...

И вот результаты!

Погибла свекла, погибли ее подруги, чья судьба была так схожа с ее собственной.

И она тоже должна погибнуть...

Спасенья нет, долгоносик стеною окружил пруд, ожидая, когда она выйдет из воды.

— Не будет по-твоему, долгоносище! — вскрикнула карьера.

Нырнула и не вынырнула... Утонула...

Вытащили карьерину тело только через три дня.

Похоронили утонувшую карьеру вместе с останками ее верных подруг: с двумя чепчиками, голубым бантом, пудреницей и губной помадой.

Похороны были довольно скромные. Музыки не было.

Завхуд местного клуба поиграл немного на гребенке, поскольку председатель колхоза еще перед весенней посевной заявил:

— Как услышу во время весеннего сева баян, я из тебя гармонию сделаю. И клапаны понаставлю! Так и знай!

Одну-единственную речь произнесла карьера главного агронома из соседней МТС. Но это была не речь, а причитание:

— Ой, подруженьки-любоньки! Да вы же мои дорогуленьки, да вы же мои еще и миленькие! Да на кого же вы меня, сиротку, оставляете?! Да на кого же вы меня покидаете?! Да почему ж я вам да не посоветовала, как сама делала... Прятались бы, как и я, от долгоносика по ямкам и канавкам. Перескакивали бы, как и я, с ручного опрыскивателя на конный, а с конного на тракторный! Да все бы, подруженьки мои, с гексахлора-а-а-ном! Окружили бы себя школьниками и школьницами с бутылками и банками... Собирали бы долгоносика по рублю за килограмм! А потом по выездным курятникам укрылись бы... И были б вы теперь живенькие да здоровенькие! Прощайте, мои родненькие, прощайте, мои дорогуленьки! Да будет земля вам пу...

Не могла, бедняжка, произнести всего слова «пухом» — разрыдалась.

Так и сошли в могилу погибшие карьеры со струнным напутствием:

— Да будет земля вам пу...!

Ничего не поделаешь: «пу» так «пу» — так и быть!

Остались их шефы сиротами.

Есть, однако, надежда, что скоро им дадут по строгачу,— в компании все-таки как-то веселее.

Заканчивая этот скорбный рассказ, автор не может не произнести с глубокой грустью:

Нет повести печальнее на свете,
Коль долгоносик всю сожрет свеклу!

Рифмы хоть и нет, но зато правда!

1955



Сорняк.

I

Когда районных руководителей спрашивали, как идут дела в колхозе «Луч», они морщились и говорили: «Не очень! Мы за него, за этот колхоз «Луч», вот-вот возьмемся!»

И впрямь, урожаи в колхозе «Луч» были, как говорил острый на язык дед Кньшш, не очень средние.

— Вот в «Заре»,— говорил дед Кньшш,— там урожаи действительно средние, по три килограмма на трудодень, а у нас по семьсот—по восемьсот граммов. Председатель колхоза хоть и говорит, что наш «Луч»—колхоз средний, а я так думаю, что не очень. Может, и средний, только очень уж где-то позади.

И животноводство в «Луче», по терминологии деда Кньшша, тоже было не очень средним: до тысячи литров на каждую корову никак не могли дотянуть... И с кормами всегда было туго, и помещения для скота «ребрами светились», да и коровы были, так сказать, беспородной породы.

Правда, полтора года назад колхоз приобрел восьмимесячного бычка симментала Сарданапала, который вырос

и превратился в чудесного красавца бугая. Сарданапала зачислили в класс «элита» и записали в соответствующие племенные книги.

Смирный и добродушно-веселый Сарданапал радовал хозяйский глаз колхозников, но он еще не успел облагородить колхозное стадо и стоял в коровнике, как прекрасный принц среди замызганных золушек.

Самым светлым лучом в «Луче» была доярка Харитина Тарасовна Терновая, чернобровая, волоокая — молодичавдова. Она жила с двенадцатилетней дочкой Галочкой. Ее муж погиб смертью храбрых в Отечественной войне. Она надаивала молока от закрепленных за нею коров больше всех в колхозе: ее коровы отличались и упитанностью и чистотой. Но она одна, понятное дело, не могла поднять животноводство до такого уровня, чтоб не стыдно было, как говорится, людям в глаза смотреть.

За состояние животноводства на ферме доставалось от Харитины Тарасовны и председателю колхоза, и заведующему молочнотоварной фермой, и зоотехнику!

Заведовал молочнотоварной фермой Кузьма Кириллович Сорняк, никчемный, хоть и с большим гонором, завалящий человечиска, попавший на такой пост только благодаря тому, что приходился председателю правления троюродным племянником.

Будучи человеком женатым и имея троих детей, Кузьма Кириллович Сорняк тем не менее решил приволокнуться за Харитиной Тарасовной, но после решительного отпора активное ухаживание оставил.

Кузьма Кириллович любил выражаться по-ученому: и о периоде лактации, и о сухостойном периоде, и о кормовых единицах, и о том, что молоко у коровы на языке.

Харитина Тарасовна на это отвечала довольно едко и язвительно: дескать, наши коровы больше всего пребывают не в периоде лактации, а в сухостойном периоде, — и что верно, то верно — молоко у коровы действительно на языке, но в колхозе «Луч» молоко на языке не у коровы, а у зава молочнотоварной фермой. Да и у правления тоже!

Всех, кто бывал в колхозе «Луч», всегда удивляло: в плохоньких коровниках были и автопоилки, и подвесная дорога для доставки кормов, и механизированная вывозка навоза.

Кузьма Кириллович хвалился:

— Вот я какой! Если бы не я!.. У меня механизация! У меня!..

Колхозники посмеивались, а у Харитины Тарасовны глаза вспыхивали гневом.

В коровник частенько наведывался бригадир тракторной бригады, обслуживающий «Луч», молчаливый, задумчивый, с серыми глазами, Карп Иванович Малюта. Он осматривал автопоилки и механизацию и каждый раз спрашивал Харитину Тарасовну:

— Ну как, Харитина Тарасовна? Крутится?

Харитина Тарасовна краснела, глаза ее смотрели ласковее и голос ее становился все нежнее, когда она отвечала Карпу Ивановичу:

— Крутится, Карп Иванович! Большое вам спасибо! Так и таскали бы воду ведрами, солому и сено вилами, а навоз на тачках возили, если б не вы!

Карп Иванович улыбался, еще раз заглядывал Харитине Тарасовне в глаза и шел к своим тракторам.

Шел и вспоминал:

«Если бы не вы, Карп Иванович»,— сказала Харитина Тарасовна.

Он останавливался при этом воспоминании и мысленно говорил: «И если б не вы, Харитина Тарасовна!..»

На сердце у него становилось теплее, и ему, такому молчаливому, спокойному, очень хотелось петь...

II

Харитина Тарасовна не давала молочнотоварной ферме окончательно развалиться, ее энергия помогла сохранить ферму. Более того, положение с животноводством хотя и медленно, но все же становилось лучше.

Сам Кузьма Сорняк ничего не делал, только похвалялся:

— Если бы не я!

Работать ему не хотелось. Частенько прикладывался к рюмке.

Правда, он и раньше не отказывался от стопочки, но в последнее время заметно усилил темпы, пил уже по строгому графику—от понедельника до понедельника—и постоянно пребывал в состоянии нижевышесреднего подпития.

— Наш Кузьма Батькович сегодня снова в периоде полной нализации,—с грустной усмешкой констатировала Харитина

Тарасовна.— Надо будет сказать его жинке, пусть попробует перевести его на сухостойный период. А то допьется...

Доярки мрачно качали головами, а самая младшая из них, хохотушка Одарочка, захлебываясь от смеха, рассказала, как позавчера Кузьма Кириллович зашел в закусочную и придрался к официантке:

— Где ваша механизация?! Что ты мне водку в стаканах подаешь? Где ваша автопоилка для горилки? Где ваша подвесная дорога для закуски? До каких пор мы будем пить и закусывать вручную?

Вызвали жену. По дороге домой она дала ему такую механизацию, а дома показала такую автопоилку, что губы у него стали похожи на синие вареники.

Но и после этого Кузьма Сорняк не переключился на сухостойный период — пил и дальше.

И допился-таки.

Как-то его, вдрызг пьяного, в недобрый час занесло на стога, откуда сено подавали подвесной дорогой в коровник. Дорога в ту пору работала на полный ход.

Не успели колхозники оглянуться, как он — черт знает как! — очутился в ковше, куда накладывали сено.

И «поехал» Кузьма Кириллович в ковше прямо в коровник.

«Приехал», засопел, задвигался в ковше и выпал в ясли Сарданапала.

Сарданапал, тихий, спокойный бугай, перепугался и отпрянул от яслей, даже цепь затрещала, и грозно-испуганно:

— Ве-е-е!

Сорняк пробормотал из яслей:

— Сарданапальчик! Так это ж я, Кузьма Кириллович! Не узнал? — и полез к Сарданапалу целоваться.

Может, Сарданапал его действительно не узнал, а может, бугая раздражил спиртной запах, только бугай: «Ввве-е-е!» — еще раз люто векнул и стукнул Кузьму Кирилловича лбом, придавил его к яслям и не пускает. Поймал, дескать!

Слышат доярки, что Сарданапал дико ревет и кто-то из его денника кричит не «спасите!», а только:

— Спас!.. Спас!.. Спас!..

Прибежали, успокоили Сарданапала, вытащили из яслей Кузьму Кирилловича, положили на вагонетку с навозом и вывезли из коровника.

Когда Кузьму Кирилловича отправили домой, хохотушка Одарочка объявила:

— Наш зав в периоде полной нализации въехал на подвесной дороге в коровник, а выехал оттуда в механизированной вагонетке! Да здравствует механизация!

III

Серьезных повреждений у Кузьмы Кирилловича не обнаружили. Сарданапал слегка только помял его. Больше испугом отделался...

Пришлось Кузьме Кирилловичу поневоле переключиться на сухостойный период.

— Надолго ли? — усмехалась Харитина Тарасовна.

Но вернуться на пост зава молочнотоварной фермой Кузьме Кирилловичу не суждено было: в районе наконец узнали о похождениях троюродного племянника председателя колхоза «Луч» и посоветовали снять его с работы.

Заведующей фермой назначили Харитину Тарасовну Тернову.

А хохотунья Одарочка заливалась:

— Если бы не подвесная дорога — нами и до сих пор командовал бы Сорняк. Да здравствует механизация! Да здравствует Сарданапал!

1954



Думало

дин председатель колхоза ходил и все думал, все думал и думал.

— О чем это ты, Александр, думаешь? — допытывалась жена.

— Эге! Так я тебе и сказал! Не мешай! Раз думаю, значит, нужно! У меня укрупненный колхоз — есть о чем думать! — И снова думал.

Тогда жена с другой стороны стала заходить:

— Александр! У тебя дети малые!

— Ну и что ж из того, что малые! Не выдумали еще такого, чтобы дети сразу взрослыми родились! А тебе хотелось бы: сегодня дочку родила, а завтра уже и свадебную:

Выкатили, выкатили бочку,
Выманили, выманили дочку.

Так тебе хотелось бы! Сначала надо вскормить, вспоить, а тогда уж и о замужестве думать...

— Об этом я и говорю! О детях я и беспокоюсь, а ты все думаешь! — расходилась жена. — Дырку во лбу себе продумаешь, а тогда что? Кубанкою прикроешь?

— Ах, отстань ты от меня, а то... — гремел председатель колхоза.

И снова думал.

Колхозники волновались.

— Как там Александр Данилович? — жену спрашивали.

— Думает!

— О чем же он так крепко и долго думает?

— Не говорит!

— Что же делать? Тут пора удобрения на поле вывозить, а он все думает, доступа к нему нет! Опять повторится прошлогоднее. Не вывезли удобрения на поле, ну и выкопали свеклу, если считать на десятичные дробы, ноль целых шипш десятых. Да в прошлом году легче было, он тогда об удобрениях не думал, только обещал вывезти их, а теперь вот думает... Хоть плачь!

Наконец одна звеньевая, очень боевая комсомолка, отважилась. Решительно вошла в кабинет:

— Здравствуйте, Александр Данилович!

— Здравствуй!

— Думаете?

— Думаю!

— А удобрения на свеклу когда вывозить?

— Вот я и думаю!

— Что ж вы думаете?

— Думаю, как бы оно такое выдумать, чтоб те удобрения на поле очутились!

— Да что ж тут долго думать? Занарядить подводы, машины, погрузить удобрения — да на поле, дружно, с песнями! Вот и все!

— Э! Так каждый сможет! Это — старая техника! Теперь надо по-новому браться... Вот я и думаю, что бы такое ну хоть

с теми гранулированными удобрениями сделать: как бы их так яровизировать или гибридизировать, чтоб у них лапки повырастали и они в один прекрасный день — топ! топ! топ! — и на свекольный участок. Каждая гранулька на пашню прибежала бы, в борозду легла, ноженьки поджала, чтоб не промерзли, да и удобрила бы земельку. Вот это — изобретение! А ты мне: нагрузить на подводы, на машины и вывозить... Фантазии у вас нет!

— Да у нас, Александр Данилович, не только фантазии нет, у нас и сахара нет! Не удобрили в прошлом году свеклу, вот и пьем чай вприкуску!

— Вот то-то оно и есть! — подтвердил Александр Данилович. — А вырастут лапки у гранулированного удобрения, и чай будет слаще! О!

Звеньевая долго-долго смотрела на Александра Даниловича, потом спросила:

— Ну, а дальше что?

— А дальше вот что! Мы все имели дело с микроэлементами в удобрениях, а теперь ученые обнаружили такие микроэлементы, как медь, марганец, цинк, бор, кобальт и т. п. Их для удобрения земли требуется значительно меньше. Вот когда заживем! Надо, к примеру, добавить в виде удобрения меди: набрал в карман медных копеек, разбросал по копейке на делянку — и гуляй себе! А свекла растет! Или бору надо подбавить: взял в мешок борной кислоты и разбросал по чайной ложечке на четверть гектара! Вот тогда сладко заживем!

Звеньевая внимательно посмотрела на Александра Даниловича. Посмотрела и сказала:

— А может, оно с микроэлементами и не так будет, как вы это говорите?

Александр Данилович совсем разгневался:

— Что ты все вздор мелешь? Что ты в этом деле понимаешь? Я уже додумался! Ты считаешь, что я вот хожу и думаю так себе, без результатов? Как бы не так!

Покраснела звеньевая и сказала:

— Если уж вам, Александр Данилович, так нравится думать, знаете, о чем я вам посоветую подумать?

— Ну?

— Подумайте о том, как пить чай с минеральными удобрениями вместо сахара! И сами испытайте на практике. Мы так полагаем, что на стакан чаю достаточно центнера суперфосфата.

Звеньевая из кабинета выскочила и громко хлопнула дверью.

Александр Данилович посмотрел ей вслед и сказал:

— Ишь какая!

И продолжал думать.

1954



В ночь под Новый год

I

В одном колхозе, одного района, одной области произошло страшное событие...

В ночь под Новый год в этом колхозе украли сторожа!

Был сторож, и вдруг как языком слизало.

В этом колхозе по штату всего только восемнадцать сторожей...

Не восемьдесят, а всего только восемнадцать.

Сторожа меж собой живут тихо, мирно, в согласии и дружбе.

Они сторожат, солнце вертится, трудодни идут... Чтобы когда-нибудь среди них, среди сторожей, вспыхнула ссора — да боже сохрани!

Разве когда в подкидного играют и кто-нибудь не ту карту подкинет, но это бывает очень редко, потому что играют они в подкидного так, что и в карты уже не глядят, такие специалисты: дошли до того, что без карт играют, а так — жестами.

Потому и ссориться нет причин.

Бывает иногда, что стеречь, собственно, нечего, так и из этого положения находят выход: стерегут тогда один другого, чтобы не было прогулов.

Словом — хорошие сторожа, квалифицированные и с солидным стажем.

Трое из них уже в преклонном возрасте, старенькие, а остальные — ничего, в добром еще здоровье, и если не играют за амбаром в подкидного, то борются «накрест» или «под силки», а если бороться не хочется, то идут на молочнотоварную ферму:

— А ну, кто бугая подымет?

Бугай в том колхозе — симментал. Красавец бугай. Цезарем называется. Девятьсот восемнадцать килограммов весит. Но характером смирный, поднимать себя дает, только стонет.

Одному, конечно, не поднять, а вдвоем поднимают, как ребенка.

Только кричат.

Оленка Кленова, самая лучшая в колхозе звеньевая и самая бойкая на язык комсомолка, как-то на заседании правления бросила:

— Да вы бы нашим сторожам футбольный мяч купили. Они потренируются и «Кубок СССР» нам выиграют. Хватит им бугая поднимать!

Сторожа обиделись на Оленку:

— Ты не очень-то болтай! Хотя мы и сторожа, но не забывай, что я есть тесть, а я свекор, а я дядька, а я кум! Прикуси язык!

И так за дивчину взялись, что если бы не парторг с комсоргом, то, гляди, лишились бы мы звеньевой!

А так вообще, повторяем, сторожа очень хорошие и весьма квалифицированные, просто-таки незаменимые.

И вот одного из них под Новый год что-то схватило и утащило.

Дело было, рассказывают, так.

Под Новый год сторожа вышли на работу уже после встречи Нового года, так как никто до двенадцати часов в колхозе не спал и бояться было нечего, да и воры в эту ночь тоже Новый год встречают, так что можно было не волноваться.

Встретили Новый год и вышли сторожить.

Этой ночью не играли в подкидного, не боролись, да и бугая не поднимали — было тяжело. Походили, поколотили в колотушки, посидели, подремали, ничего за ночь не случилось; рассвело, разошлись по домам да и легли спать.

И вот на другой день жена одного из сторожей подняла тревогу:

— Пропал муж!

Туда-сюда — нет. Уже и вечер — нет!

Позвонили в район, вызвали из милиции собаку-ищейку Трефа. А той ночью шел снег, следы замело. Треф побежал по дворам, подбежал к колхозному амбару, понюхал, ринулся к стогу колхозного сена и стал разгребать сено. Греб, греб и выгреб свиной окорок.

Все только:

— Тю!

А завхоз потихоньку:

— Чтоб ты сдох! Откуда ты на мою голову взялся?

А Оленка тут как тут:

— Смотрите! Хотя и зарезана, а в сено зарывается! Недаром сказано — свинья!

— Да она с морозу! — усмехнулся милиционер.

II

Кража сторожа в колхозе произвела на всех гнетущее впечатление.

Жена все плачет, родственники и соседи — в печали.

Сторожа ходят тучей:

— Не уберегли!

Созвали экстренное заседание правления, где постановили удвоить штаты колхозных сторожей, чтобы один штат сторожил колхозное добро, а второй — чтобы сторожил первый штат.

* * *

— Могло ли такое случиться? — спросили мы своего знакомого мудрого колхозника.

— Сколько в колхозе сторожей? — спросил он.

— Восемнадцать.

— Могло быть! — поразмыслив немного, сказал мудрый колхозник. — Могли и украсть. Есть кого украсть!

— А что делать, чтобы в колхозе сторожей не крали?

— Единственный способ: избрать на весь колхоз одного хорошего сторожа — председателя колхоза! — посоветовал мудрый колхозник.

— Что же ему сторожить?

— Колхозные трудодни! — твердо заявил мудрый колхозник. — Никто тогда у него сторожа не украдет.

1950

7. О Вишня



*Ох, и Матрена же
Карповна*

Много, много в наших районах коллективных хозяйств!

Среди них есть хорошие, есть средние и есть, как их называем теперь, отстающие...

Не плохие, а отстающие...

И это вполне правильное название для таких колхозов — «отстающие», потому что плохих колхозов не бывает, не может быть.

Не колхозы плохие, а есть — будем говорить прямо, люди мы свои! — руководители неважные, а у таких неважных руководителей и колхозы частенько бывают отстающими.

Но в каждом районе обязательно есть один колхоз наилучший из лучших, напередовой из передовых, гордость целого района, а может, и области, а может быть, даже и республики, и всего Советского Союза.

И частенько бывает так, что какая-нибудь артель кое-как перебивается, лишь бы, как говорится, протянуть день до вечера. Стонет, кряхтит, а из района кричат на нее: «Ты мне весь район назад тянешь!» И земля как будто у этой артели не родит, и скотина неплодящая, и дождь над нею, говорят, идет не весной, в мае, а обязательно во время жатвы и молотбы. Одним словом, горе мое горькое.

Но вот демобилизовался из армии человек, приехал домой, явился в райком партии, там ему и говорят:

— Вот и хорошо, что вернулся! Будем рекомендовать тебя председателем артели! Она в хвосте плетется! Выведи ее вперед.

Человек отговаривается:

— Да я того... да разве я... да я ж еще не того...

Но, несмотря на то что он еще «не того», избирают его председателем...

Проходит год-два, и вот не узнать артели...

На работу идут с песнями, дожди выпадают у них как раз в тот момент, когда дедушка Тимош глядит на небо и говорит: «Вот бы теперь дождик!» Коровы чистые и яловыми не ходят, кони весело ржут, кобылы жеребятся, трудодни как трудодни, куры кудахчут, петухи поют, даже индюки бормочут.

А девушки, а девушки в этой артели!..

То, бывало, расчесывались только по субботам, а теперь три раза в день причесываются, в зеркальце смотрятся, и у каждой в уголочке спрятан крем «Снежинка», и Олена потихоньку выпытывает у Галины:

— Ты не знаешь, каким одеколоном от Оксаны пахнет? Я спрашивала — не говорит!

— Либо «Сирень», либо не иначе как «Белая ночь».

— А я узнала еще получше, называется «Манон»! Купим, тогда посмотрим, кто кого перепахнет.

Даже бабка Секлета, что целыми днями на завалинке греется, очень уж старенькая, — так и бабка Секлета, приглядываясь и принюхиваясь ко всему, что в артели делается, всем сообщает:

— Эх, вот так-то и мне хотелось бы!

А совсем было заскучала артель.

Пришел энергичный человек, встал во главе коммунистов, перевернул все: сплотил актив, собрал, зажег комсомольцев — и завертелось...

И председателю артели приходится уже думать не о том, выйдут или не выйдут сегодня на работу, а о технике, зоотехнике, гибридизации, о Мичурине...

И артель уже образцовая, передовая...

Так вот, в нашем районе была не одна такая наипередовая артель, а две. Были когда-то отстающими, а теперь, как стали хозяйничать в них настоящие организаторы и настоящие хозяева, теперь они наипередовые...

И какая из них лучше, никто в районе не мог сказать.

Если в одной из них хорошо одно, то во второй — еще лучше другое.

А в общем показатели одинаковые...

Почитали и любили в районе обе артели одинаково...

И артели любили, и председателей уважали...

В артели «Новая жизнь» председателем был Иван Петрович Клен.

В артели «Счастливая жизнь» председательствовал Петр Иванович Явор.

Поезжайте в район, спросите там, а может быть, даже и в области:

— Ну, как у вас поживает Иван Петрович Клен?

— Из «Новой жизни»? Да это ж наш Посмитный! — И приветливо улыбнется тот, кого вы спрашиваете.

А поинтересуетесь:

— Как Явор Петр Иванович, жив-здоров?

— Из «Счастливой жизни»? А как же! Наш Дубковецкий. — И глаза вашего собеседника ласково улыбнутся.

Ну, а мы уж знаем, что наивысшая похвала для председателя колхоза — это назвать его Посмитным или Дубковецким.

Макар Анисимович Посмитный — прославленный председатель артели имени Буденного Березовского района, Одесской области, а Федор Иванович Дубковецкий — не менее прославленный председатель колхоза «Здобуток Жовтня» Тальновского района, Киевской области.

Оба зачинатели колхозного движения, оба двадцатипятидесятники и оба такие хозяева на колхозной земле, что куда там всем прежним господам Кенигам да Харитоненкам, Терещенкам да принцам Ольденбургским...

Все про них читают, все про них знают, и все ждут, кто кого перехозяйничает: Федор ли Иванович Дубковецкий «перифедорит» Макара Анисимовича Посмитного, Макар ли Анисимович Посмитный «перемакарит» Федора Ивановича?..

Так что если какого-нибудь председателя артели называют в районе Дубковецким или Посмитным, то так и знайте, что это настоящий хозяин, «как гром».

Зря не назовут...

Соревновались Иван Петрович Клен с Петром Ивановичем Явором...

Собственно, не они соревновались, а артели подписали между собою договор на социалистическое соревнование...

«Новая жизнь» со «Счастливой жизнью»...

Хотя, положим, если соревнуются артели, то соревнуются и председатели артелей...

Обе артели, еще раз скажем, были образцовыми...

И Иван Петрович Клен, и Петр Иванович Явор, да и все члены артелей «Новая жизнь» и «Счастливая жизнь» пре-

красно знали, что на обычных «пунктах» договоров много не выиграешь и выполнением этих пунктов никого не удивишь...

Поля, как столы, да еще и чистою, да еще и вышитую скатертью застланные...

Планы — перевыполнены: и в полеводстве, и в животноводстве, и в птицеводстве, и в пчеловодстве, и в огородничестве... Во всем...

И клубы в обеих артелях есть, и стенгазеты есть, и агрокружки, и драмкружки, и всякие другие кружки — все это уже вошло в быт...

Как нельзя утром не помыться, так нельзя не пойти в клуб, в агрокружок, не почитать газету, не написать заметку в стенгазету и т. д.

Инвентарь отремонтирован, весь он под навесами, не на дворе, — не ржавеет, не портится...

Скотина в тепле, сыта...

Колхозные кладовые значительно лучше, чем некоторые районные кооперативные универмаги: и чище, и порядка больше...

И в школе тепло, и в больнице тепло, и у учителей тепло, и у врачей тепло...

Сначала Иван Петрович Клен из «Новой жизни» приехал к Петру Ивановичу Явору в «Счастливую жизнь» с целой комиссией своих колхозников проверить выполнение договора на социалистическое соревнование...

Обошли решительно все: везде все ладно, везде полный порядок, ни к чему не придерешься...

Уж на что Матрена Карповна Гнутая, бригадир полеводческой бригады из «Новой жизни», такая, что от нее ничего не спрячешь, такая придирчивая, что про нее Петр Иванович Явор сказал Ивану Петровичу Клену:

— Ты ее замуж выдай, может, она полюбрует!

Так и Матрена Карповна Гнутая ничего такого не нашла, к чему бы можно было придраться...

В прошлом году Матрена Карповна, правду говоря, немножко пристыдила «Счастливую жизнь», открыла рядовую сеялку, а там немного зерна осталось и проросло...

Черти притащили эту сеялку!...

Из-за этой сеялки «Новая жизнь» и оказалась на первом месте, «Счастливая жизнь» — на втором.

Все удивлялись — кругом отлично! Пять!

Поехали в четвертую бригаду, что была за три километра от села, — и там кругом пять! Отлично!

Ну, хозяева гостей угостили, покормили обедом.

Гости поблагодарили.

— А когда к нам на проверку?

— В воскресенье приедем.

Счастливозиженцы были очень рады, что в этом году даже и сеялка не подвела, и Матрена Карповна Гнутая ничего не смогла поделать.

А они знали, что Матрена Карповна не может без того, чтобы не победить...

А вот, видите, и не победила! Не было, к чему придраться!

Через неделю-полторы Явор Петр Иванович со своими колхозниками поехал в «Новую жизнь»...

И тут то же самое: пять!

Один из счастливозиженцев так просто сказал:

— И чего мы будем ходить? Не знаем мы, что ли, как они хозяйничают? Давайте лучше сядем да покурим, чем зря ноги бить. И будем равны по соревнованию! Ей-бо, правда!

— Э, нет! Нужно все проверить. Как же так? Проверка так проверка!

— Ну, идите, а я покурю,— да и сел этот «один» возле кладовой.

Ни к чему не придрались и счастливо жиженцы у новожиженцев...

А нужно вам знать, что бригада Матрены Карповны Гнутой была тоже за два километра от села, в бывшем небольшом господском имении...

— Ну, пойдем к Матрене Карповне.

— Если уж тут ни к чему не придрались, то у Матрены Карповны — черта лысого!

— А все же поехать надо.

Поехали...

Матрена Карповна приветливо встретила гостей:

— Просим, просим!

— Ну, где тут у тебя огрехи, показывай, Матрена Карповна! — усмехнулся Петр Иванович.

— Глядите!

Поглядели. Дай бог, чтоб во всех бригадах и во всех колхозах было так, как у Матрены Карповны.

— Хорошо хозяйничаешь, Матрена Карповна! Ничего не скажешь! Лучше, чем отлично.

— Как умеем! — поклонилась Матрена Карповна. — А теперь, дорогие гости, зайдите же и в наш красный уголок, отдохните! Угостим вас грушевым квасом!

Зашли гости в красный уголок...

Собрались в красный уголок все, вся бригада: молодые парни, девушки, пожилые... Сидят, беседуют, кваском угощаются.

Матрена Карповна привстала и говорит:

— Может быть, дорогие гости, слушаете, как наша бригада поет?

А девушки и парни, да и пожилые как-то так уже построились в углу, как им удобно было.

Матрена Карповна вышла на середину, махнула рукой...

И враз как грянут парни:

Из-за гор из-за высоких
Сизокрыл орел летит...

Девушки подхватили... И полилось... и полилось...

А потом и «Верба густа», и «Дударик», и «Туманы мои растуманы»...

Хор, говорю вам, — да какой хор!

Гости остолбенели...

— И когда же это вы успели?!

Кончили петь, тогда выходит на середину Наташа Качур — звеньевая, встала и начала декламировать:

Шли солдаты из-за Псла
Двадцать первого числа...

«Солдатскую балладу» Андрея Мальшко прочитала... Да как!

Выходили еще девушки и парни, декламировали Пушкина, Шевченко, Тычину, Рыльского...

Гости только головами кивали да аплодировали...

И было записано:

«По культурной работе «Новая жизнь» стоит выше. Особенно бригада Матрены Карповны Гнутой!...»

Ох, и Матрена ж Карповна!

Не в том, так в этом, а все-таки первая!



Тяжелая близнь

3

I

начит, так: через неделю, самое большее — дней через десять и начнем пшеничку! Во как налилась! — приглаживая колоски, говорил Иван Петрович, бригадир.

— Через неделю? — испуганно переспросил Павло Подушка.

— Не позднее! — ответил бригадир.

Было это вечером, а на следующий день утром Павло Подушка, весь съезжившись, говорил врачу амбулатории Никите Ивановичу:

— Вот тут у меня, Никита Иванович, жжет. Отсюда начинается, а сюда подкатывает, и, как под сердцем закрутит, даже в глазах темно. И будто так вот мель-мель, мель-мель и в голову ударяет! Ну, не устоять на ногах — и баста! Особенно, если на солнце! Голова кругом, хоть кричи!

— А в холодке, в тени? — спросил врач.

— В холодке не ударяет! Только под сердце подкатывает! А в глазах и в холодке темно!

— Может, потому и темно, что чересчур густой холодок, — усмехнулся врач.

— И аппетита никакого, — продолжал Павло Подушка. — На еду смотреть не могу! Положите меня в районную больницу: мать тревожится, как бы я, случаем, не помер! И у дедушки, говорит мать, точно так начиналось, дедушка взял да и помер.

— А сколько лет было деду?

— Семьдесят пять! Дедусь был крепкий, двужильный, да и помер. А я еще молодой, неопытный, как бы не помереть. Хоть на комиссию пошлите!

— А тебе сколько лет?

— Девятнадцатый!

— Женатый?

— Осенью, если не помру, женюсь!

— А ты не помирай! Доживи уж как-нибудь до осени: может, и я на твоей свадьбе еще погуляю!

— Пошлите на комиссию! — упрашивал врача Павло.

— Комиссия вряд ли поможет, — сказал врач, — скорее гимнастика, а утром холодное обтирание. Да и работать надо, не залеживаться — и пройдет!

— И это все лекарство?

— И это все лекарство! — подтвердил врач. — Кто следующий?

II

— Ну, что сказал врач? — спросила мать. — В больницу нужно везти?

— Да какие у нас врачи? Разве они что-нибудь понимают? У меня внутри болит, а разве он видит? В районе хоть рентген есть, там бы просветили и увидели. А он мне гимнастику и холодное обтирание!

— На работу пойдешь?

— Где там на работу? На какую работу, если света божьего не вижу! В глазах темно...

— Ну, я побегу на ферму к курочкам, нá тебе вареников, покушай!

Мать поставила на стол миску с варениками.

— И это все? — поморщился Павло. — А сметана?

— Да забегала Оленка, я ее угостила.

— Ткнул полмиски вареников и хотят, чтоб здоровье было! Сами ешьте! — оттолкнул Павло миску.

— Ну, тогда возьми сала! — сказала мать уходя.

— Сами сметану ели, а мне сало да сало! А колбасы не осталось?

— Бери колбасу!

III

— Что, заболел? — забежала к Павлу Оксанка, редактор стенгазеты.

— Тошнит...

— И аппетита нет?

— Да какой уж аппетит? — глотая колбасу, произнес Павло.

— Оно и видно!

— Да что видно, когда внутри болит! Вот если бы рентгеном просветили...

— Осветить бы тебя, а не просветить! Это ты в субботу в клубе перетанцевал!

— Если бы перетанцевал, ноги болели бы... А то внутри!..

— А тут еще уборка вот-вот!

— Я и говорю — уборка, а я так заболел!

— Ну, а что Никита Иванович говорит?

— Да разве наши врачи понимают?! Гимнастику, говорит, нужно делать!

— А мы тебя сами вылечим! — бросила Оксанка и убежала.

На другой день в колхозной стенгазете красовалась карикатура: лежит на рядне под грушей Павло Подушка, вместо головы у него макитра с варениками и надпись: «Тяжелая болезнь. У Павло Подушки в голове замакитрилось...»

Павло вышел на работу. С Оксанкою не поздоровался.

Оксанка сама к нему подошла:

— Выздоровел? Сделаешь сто двадцать процентов, поместим опровержение...

Павло дал сто тридцать.

Оксана написала: «Газета помогла».

1950



*Дедушки наши
и бабушки наши*



Евмену Петровичу — семьдесят шесть лет, но он Подросток.

Правда, он в этом неповинен; и родители его, и деды, и прадеды спокон веку были Подростками, такое уж прозвище им досталось.

Были ли они маленькими или стариками становились, все равно оставались Подростками.

Собственно, это, может, и не по сути дела, о котором рассказ пойдет дальше, но поясняем сразу, чтобы потом никаких недоразумений не было.

— Какой же, дескать, он подросток, если ему семьдесят шесть лет?!

Так вот, Евмен Петрович Подросток, семидесяти шести лет от роду, дед, значит, колхозник, жил себе да поживал в нашем селе.

До войны сторожил, при немцах тяжело вздыхал; как накопает, бывало, картошки, делил ее на две равные части и говорил жене — бабке Явдохе:

— Это нам, а это — «тем»! Отнесешь вечером, положишь на опушке под дуплистой грушей. Поняла? Да ежели засвербит у тебя язык, ты ж не того... не та-ла-ла-ла... а лучше напильник полижи.

После того как вернулись наши, дед ставил новые хаты, поправлял разрушенные. Да все молчком, все молчком...

— И чего ты все молчишь, Евмен? — принималась за него бабка Явдоха.

— Достаточно в нашей хате и одного оратора! Ты одна четырех промеждународных докладчиков за пояс заткнешь!

Наступила жатва — дед Евмен первым пришел во двор колхозного правления; на легоньком косовище белели новехонькие грабки, и сверкала, как бритва, выклепанная и отточенная коса.

Посходились косари: молодежи, дивчата, парубки.

Председатель правления увидел деда Евмена:

— А вы куда, дед Евмен?

— Разве не видишь: в подкидного играть!

Проинструктировал председатель, как косить, что к чему...

Когда вышли в поле, подошел к деду Евмену бригадир:

— А вы, дедушка, оставайтесь косы клепать да учить людей, как острить и править косы.

— Нет, — возразил дед Евмен. — Пусть младшие клепают, а я впереди пойду!

И вышло так: как ни старались косари попридержать ретивого деда, ничего не помогло. Чаше получалось, что оставлял дед Евмен своих косарей далеко позади.

Усядутся, бывало, передохнуть, а Евмен Петрович сам еще полосу покоса пройдет и только тогда присядет.

Закончили жатву, подсчитали, и получилось, что дед Евмен выработал, округляя, 142 процента и вышел на первое место.

Гордый ехал дед Евмен в областной центр делегатом на торжество получения высокой награды. Союзное правительство за высокие показатели в работе на сельскохозяйственном

фронте наградило область переходящим Красным Знаменем Государственного Комитета Обороны...

На одной из станций вошла в вагон старушка и примости-лась напротив Евмена Петровича.

Смотрела-смотрела на деда да руками всплеснула:

— Евмен?! Живой?!

— Нет, мертвый.

— Сколько лет, сколько зим!

— А ты ж как, Одарка, жива и поныне?

— А что мне сделается?

Встретились друзья детских и юношеских лет. Дед Евмен и бабка Одарка росли когда-то вместе, и не раз, бывало, условным покашливанием вызывал Евмен Одарку из амбара, когда у той «глаза были ясные, словно тот камешек, что блестит». Но вышла замуж Одарка верст (тогда еще версты были) за сорок от родного села, и после того не часто они встречались. Так и состарились.

— Да куда ж это ты, Евмен, собрался?

— Да так, в проходку!

— Пройтись, значит, на старости лет приспичило?

— Эге ж: захотелось от кошки лепешки; а ты куда?

— Да так: в проездку.

— Ишь ты! Проехаться, оно, конечно, веселее, нежели перья на печи скубсти!

— Про то и речь. Жатву закончили?

— Эге ж. А вы?

— И мы. Зерно стерег?

— Вот именно. Воробьев гонял: кы-ыш! Цыплят пасла?

— Несушек водой обрызгивала, чтоб не квохтали...

— И то дело.

На вокзале в областном центре дед Евмен и бабка Одарка потеряли друг друга в толпе...

Торжественное собрание. Зал сверкает огнями. Гремит оркестр. Оглашают список избранных в президиум. И среди них:

— Подросток Евмен Петрович, семидесяти шести лет. Выработал на жнивах сто сорок два процента. Косарь.

Гром аплодисментов.

Шествует Евмен Петрович к столу президиума с высоко поднятой от гордости головой.

— Острая Одарка Филипповна, семидесяти пяти лет. Вязальщица. Сто пятьдесят семь процентов выработки.

В зале — буря.

За столом президиума Одарка Филипповна села рядом с Евменом Петровичем.

— На проходку, значит?

— Нет, в проездку.

— Ну, тогда я впроходку.

Помолчали...

— Воробьев, значит, гонял: «кы-ыш!»

— Наседок водой обрызгивала.

— Ага, это я, значит, кы-ыш!..

— На целых пятнадцать процентов меня обскакала!

— Да ведь квочка больше воробья. Обрызгивать ее куда легче. А воробышек махонький, покуда его достанешь...

Посмотрел Евмен на Одарку, а Одарка на Евмена посмотрела — и оба улыбнулись, улыбнулись точнехонько так, как в ту пору, когда вызывал Евмен Одарку из амбара условным покашливанием, а луна заливала их, и вишни, и подсолнухи своим мягким светом...

1950



„Зоре моя, берізня..“

В одном селе, одного района, одной области есть колхоз «Зоря».

В колхозе «Зоря» председатель правления деловой, опытный, бригадиры — отличные.

Есть там партийная и комсомольская организации, есть и колхозный актив. Да не просто актив, а настоящий актив, можно сказать, активный актив.

Хозяйство в колхозе ведется образцово: колхозники ежегодно добываются высоких урожаев и зерновых и технических культур, хорошо развивается животноводство, все обязательства перед государством выполняются исправно, да и

колхозники на оплату трудодня не жалуются, а совсем наоборот...

Скажем прямо: колхоз «Зоря» — хороший колхоз.

Любя и уважая хорошие колхозы в своем районе, районный комитет партии питает еще слабость, к институту уполномоченных.

Посевная ли, уборочная ли, поставки ли государству — сразу во все колхозы направляются уполномоченные.

В каждом районе есть разные организации и учреждения; и эти районные организации и учреждения посылают, конечно, своих уполномоченных.

И вот однажды в чудесный летний день, когда колосилась рожь, наливалась и созревала пшеница и ласковое южное солнце заливало золотыми лучами колхозную землю, в колхоз «Зоря» прибыл солидного вида человек и отрекомендовался председателю колхоза:

— Уполномоченный! На жатву!

— Добро пожаловать! — тепло пожал руку председатель. Вот и поможете нам! Заходите, располагайтесь!

В колхозе «Зоря» довольно приличное помещение для приезжих.

Дня через два приехал еще один солидного вида человек.

— Уполномоченный «Райзаготскот»!

— Добро пожаловать! — пригласил и его председатель.

И вышло как-то так, что в то лето колхозу «Зоря» сильно-таки повезло на уполномоченных.

Прибыли:

уполномоченный «Райкоопяйцо»,

уполномоченный «Райшерсть»,

уполномоченный «Райрыба»,

уполномоченный «Райраки»,

уполномоченный «Райграбли»,

уполномоченный «Райпуговица».

Не будем утруждать читателя, а скажем коротко: наехало туда человек пятнадцать солидных уполномоченных.

Приехал еще один агент страховки, другой — перестраховки и т. д.

Всех их встречал одинаково радушно, любезно и приветливо председатель правления колхоза «Зоря».

— Добро пожаловать, товарищи! Располагайтесь!

Тетя Уля заведовала домом для приезжих и обеды им варила. Борщ такой, что даже уполномоченные с хроническим колитом признавали:

— Не поверите! Дома тарелочку самого легкого супа съешь — жжет! Здесь — три миски борща не спеша выкушаешь — ничего. Правда, первые два часа дышать тяжело, а не жжет совсем.

И стали уполномоченные в колхозе «Зоря» жить да поживать.

А колхоз «Зоря», подчеркиваем, был хороший колхоз: все работы выполнял своевременно, агроном — толковый, опытный, зоотехник (комсомолка, выпестованная колхозом) — энергичная. Народ в колхозе дружный, работающий, прекрасно умеющий сочетать государственные и личные интересы.

Одним словом — советский народ!..

Подшел уполномоченный к жнейке.

— Ну, как тут у вас? — интересуется.

— Вечером, вечером, товарищ, расскажу, — отвечает ему Оксана, вязальщица, — сейчас каждая минута дорога: бьем рекорд вязки снопов.

Началась молотьба. И на молотьбе уполномоченному тоже:

— Вечером, вечером, товарищ: у нас часовой график. Все рассчитано. Не мешайте, дорогой товарищ!

Интересуются уполномоченные, а им:

— Поставка яиц — выполнена. Молоко — выполнено. Мясо сдаем в счет наступающего года.

И жилось уполномоченным привольно. Проснутся — на пруд. Выкупаются, придут позавтракают, полежат в саду, потом погуляют в саду, потом снова полежат в саду, перед обедом опять выкупаются, пообедают, после обеда полежат в саду, потом прогуляются по аллеям, снова полежат, потом поподрочкают. А как солнышко к закату и жара немного спадет, идут погулять в поле; перед ужином опять купаются, после ужина посылают в район телефонограммы:

«Заготовлено сто два процента. Достигнутом не останавливаемся...»

Вечерком соберутся перед сном в садике под дубом, едят, отдыхают, потом ложатся спать.

Уполномоченный «Райраки» знал наизусть «Графа Монте-Кристо». Он рассказывает, а все слушают.

Уполномоченный «Райшерсть» прихвастнул, что знает наизусть «Анну Каренину». Покончили с «Графом Монте-Кристо» и взялись за «Анну Каренину», но скоро обнаружилось, что «Райшерсть» сильно путает «Анну Каренину» с «Очерками бурсы» Помяловского.

Заскучали уполномоченные.

Однажды вечером, после трудов праведных, сидели уполномоченные под дубом. Сидели, грустили, молчали. Но вот уполномоченный «Райпуговица», глубоко вобрав в себя воз-
дух, потихоньку затянул:

Зоре моя, вечірняя,
Зійди над горою...

Песню подхватил «Райрыба», еще кто-то, а потом вступили все хором.

Какие прекрасные голоса были у уполномоченных — басы, баритоны, тенора...

Так запели уполномоченные «Зоре моя, вечірняя», что тетя Уля, моя посуду, миску уронила, а Галинка влетела в клуб с криком:

— Ой, девоньки! Голубоньки! К нам Григорий Гурович Веревка приехал. Со своим мужским хором приехал!

А пел это не хор Григория Веревки — уполномоченные пели.

Почин дороже денег...

Аккуратно, каждый день пели теперь уполномоченные.

Руководил самодеятельностью «Райпуговица», который, как оказалось, в прошлом дирижировал хором в клубе.

И представьте себе: осенью на областной олимпиаде художественной самодеятельности «хор уполномоченных» из колхоза «Зоря» первую премию получил.

Прослушав все это, старый мудрый колхозник лукаво заметил:

— Вот и выходит, что и уполномоченные в колхозе, где все выполняется как надо, могут немалую пользу принести.

Он говорил, а в его серых прищуренных глазах веселые чертики прыгали...



Звонари

I

Дррр!.. (пауза) Дррр! (пауза)... Дррррр! — звонит телефон.

— О господи! Снова! — Это говорит сам себе или думает загруженный по горло человек и берет телефонную трубку.

— Ну?!

Потом, встрепенувшись, занятой человек торопится сказать в ту же трубку:

— Простите, не «ну», а я вас слушаю!

Занятому человеку кто-то о чем-то говорит по телефону. Он слушает. Выслушав, сердито бросает:

— Ну?!

Занятой человек слушает еще некоторое время, потом нервно кладет трубку на аппарат.

— С ума спятили! — бормочет загруженный по горло человек.

— ...Дррр!

— Ну?! — взяв трубку, спрашивает снова тот же самый человек. — Простите, я вас слушаю!

— ...Нет, не перебили! Я сам перебил!

— ...Дррр! Дррр! Дррр!

Ответственный товарищ, работающий в руководящем учреждении, является ежедневно на работу, как ему и положено, в девять часов утра.

Товарищ этот выполняет ответственную работу, разрешает дела, над которыми следует и подумать, и прочитать немало материалов, просмотреть книги, прикинуть, взвесить, а потом уже и решать.

Это — человек умственного труда.

Ну, так вот, значит, ровно в девять часов утра товарищ сел за стол.

Внезапно:

— Дрррр! — телефон.

Ответив на первый звонок, товарищ раскрывает дела, читает.

— Дрррр!

— Я вас слушаю!

После пятнадцатого «дррр!» товарищ берет трубку, но уже говорит не «я вас слушаю», а «ну», потом, спохватившись, поправляется: «Простите, не «ну», а я вас слушаю!».

После семьдесят пятого «дррр!» товарищ долго-долго глядит на телефон, потом, словно вспомнив что-то, восклицает «ага», берет трубку и говорит:

— Вы меня слушаете?

После сто одиннадцатого «дррр!» ответственный товарищ хватается в руку не трубку, а телефонный аппарат, прикладывает его к уху и удивляется:

— Смотри, как отяжелела трубка! Даже неудобно ее к уху прикладывать!

Потом думает, думает, думает и вдруг сам не свой кричит:

— Алло! Алло! Да алло ж на вашу голову!

И падает в кресло.

Затем встает, подходит к окну. На улице весна, на зеленокудрявой липе под окном прыгают, весело чирикают, воробьи.

Товарищ глядит на воробьев и никак не может сообразить, что это такое, какие это такие веселые птички прыгают...

Потом все же догадывается, что это — воробьи, смущается: как это он мог забыть воробьев, его это сердит, и он со злостью говорит:

— Телефон бы вам на липу повесить! Вы бы не чирикали!

А какие такие дела, какие вопросы решал ответственный товарищ, не выпуская весь день из рук телефонной трубки?

Первые звонки, приблизительно с девяти до десяти часов утра,— очень интересовались, как себя чувствует ответственный товарищ, как ему спалось, что ему снилось и т. д.

Утренние «звонари» старались всякими такими «наводящими фразами» засвидетельствовать ответственному товарищу, что они уже на работе, что, мол, на работу не запаздывают и приходят точно вовремя, а некоторые, как бы между прочим, давали понять, что для них прийти на работу за пятнадцать—двадцать минут до начала рабочего дня—это не только привычка, но сущая необходимость, которая приносит им не радость, а просто-таки административный восторг!

— Я и детей так воспитываю! — заверял ответственного товарища один из утренних «звонарей» и при этом взволнованно спрашивал:— А ваши детки как? Поговаривают, что скарлатина ходит! Беречь надо! Я своих в детский сад ни-ни! Дети—они дети! А раз мы родители, то мы обязаны быть настоящими родителями!

Бросив еще несколько таких афоризмов, звонарь завершал разговор:

— Всего! Позванивайте!

...Частенько просят разрешить такие сложные и принципиальные вопросы:

— У нас рядом с дикторской комнатой живет семья с детьми. Дети шумят, мешают дикторам. Можно ли ту семью переселить в другую комнату?

— А свободная комната есть?

— Есть! Только что освободилась!

— Чего же вы спрашиваете?

— Да знаете, оно, как говорится... Х-хе-хе! На рыбалке не были?

— А я рыбалкой не увлекаюсь!

— И я не увлекаюсь! А кое-кто удит! Хе-хе-хе! Всего!

— ...Беспокоит вас кандидат филологических наук Иван Иванович Двоеточиев!

— Уже защитили? Поздравляю!

— Защитил, защитил! Тяжеловато было! Тему зато какую поднял! Белинский за такую тему не брался!

— А интересно, какую именно тему вы подняли?

— «Влияние дубовых полок на переплеты «Кобзаря» Т. Г. Шевченко издания тысяча восемьсот семьдесят первого года».

— Интересная тема! Так что же вас тревожит?

— Как вы думаете, не лучше ли нам слово «вйо» писать не просто «вйо», а после буквы «вы» ставить апостола?

— Какого апостола?

— Да вот ту самую запятую, что хвостиком вверх!

— Ага! Это не в моей компетенции... Апостолы — это тема богословская!

— Извините!

.....

— Привет! Привет!

— Кто это?

— Не узнал? А на войне, помнишь, ты на Эльбе, а я на Дунае?

— Помню! Есть такая Эльба, и Дунай есть! Так что же вас интересует?

— В инструкции сказано, что культивировать междурядье кукурузы надо вдоль и поперек. А колхоз «Заря» сначала прокультивировал поперек, а уже после того — вдоль... Ставить ли на бюро или нет?

— Ставь! Ставь! Ставь на бюро! — кричит ответственный товарищ. — А потом и сам на бюро становись! Все!

IV

Телефон, говорят, изобрел немецкий учитель Филипп Рейс, а усовершенствовал американец Белл.

Они не виноваты.

Если бы они знали, что появятся такие «звонари», они бы воздержались.

1955



"Зудило"

В одном советском учреждении работал человек.

Хороший советский человек, добросовестный и честный, работал отлично в должности заведующего отделом, и все в его отделе шло так, как полагается в хорошем советском учреждении, где и кадры подобраны как следует и обязанности распределены как следует...

Одним словом, все было хорошо и в порядке.

А возглавлял то советское учреждение человек немного другого, так сказать, характера, немножечко чванливый, немножечко заносчивый, немного задиристый и крикливый.

И все, может, было бы ничего, но он — тот человек, учреждение возглавлявший, — и дела своего не знал.

Ясно, что вышло: учреждение плана не выполняло, и человека, который возглавлял учреждение, с работы сняли.

Бывает...

А если человека с какой-то должности снимают, то на его место другого назначают.

Так было и тут.

Вот призвали в высшее учреждение того самого вышеназначенного заведомом и говорят ему:

— Иван Федорович! А мы хотим вас назначить на должность управляющего учреждением! Как вы на это?

Иван Федорович поблагодарил за доверие к нему, да и говорит:

— А справлюсь ли я с такой ответственной работой? Не слишком ли рано мне идти на такую работу, потому что человек я еще молодой и не очень в этом деле искушен!

— Да вы же, — говорят ему, — блестяще ведете свой отдел!

— Благодарю за оценку, но отдел — это не все учреждение! Работу отдела я знаю, изучил ее и работаю, как вы говорите, неплохо! Боюсь я, товарищи, чтобы не вышло конфуза, лучше бы я еще некоторое время заведовал отделом и при-

смастеривался и изучал работу всего учреждения... А тогда, может, с вашей помощью и взялся бы возглавить...

— А вы подумайте! — сказали Ивану Федоровичу.

— Хорошо, я подумаю...

Думал-думал Иван Федорович и решил посоветоваться с руководителем отдела снабжения — с очень хватким человеком, у которого в работе все горит... И сам он доволен, и учреждение довольно, и все на свете довольны.

— Посоветуйте, — обратился к нему Иван Федорович, — что делать? Хотят меня назначить руководителем нашего учреждения. А я колеблюсь, боюсь, что не справлюсь с работой!

Руководитель отдела снабжения подскочил к Ивану Федоровичу, и руку ему пожал, и присест пригласил:

— Садитесь, садитесь, голубчик! Садитесь. Ну, чего вы стоите? Садитесь!

Иван Федорович сел.

— Ну что вы посоветуете мне? — спросил Иван Федорович у руководителя отдела снабжения.

А тот в свою очередь спросил:

— Колеблетесь?

— Колеблюсь!

— А почему?

— Работа ведь серьезная, а я еще мало в ней разбираюсь!

Начальник еще веселее расхохотался:

— Вот чудило! У вас простой арифметический расчет, черт побери, уважаемый Иван Федорович!

— Какой расчет?

— А такой! Вас назначают. Дела идут скверно. Но вы сидите на ответственной должности, и к вам присматриваются как к новичку. Это вам минимум один год. Дальше у вас дела, допустим, не улучшаются, все изучают и анализируют, в чем дело, почему именно работа не идет как следует. Этим вам обеспечен второй год. Третий год тоже обеспечен: пока вас снимут и найдут нового начальника! Еще раз говорю: чудило, вам обеспечены три года ответственной работы! А вы колеблетесь! Трижды чудило!

Иван Федорович хотел ударить снабженца чернильным прибором из пластмассы, но пожалел прибор, повернулся, вышел из кабинета и произнес какое-то слово, но сего слова никто не услышал, а услышали только первую букву «сс...».

Мы не знаем, согласился ли Иван Федорович возглавить учреждение, но смело можем сказать, что из него получится хороший руководитель.



Зенишка

Сидит дед Свирид на бревне. Сидит и прутик строгают.

— Как дела, дедусь? Здравствуйте!

— Здравствуйте! Дела? Дела ничего! Дела, как говорили эти вурдалаки,— гут!

— И по-немецки, дедусь, научились?

— А как же. В соприкосновении с врагом был, вот и научился.

— И долго, дедусь, соприкасались?

— Да не так чтоб уж очень долго, а, между прочим, трое от моей руки в «соприкосновение с землей» пошли. Закопали троих вон там, на выгоне... Они было и могилу насыпали и крест с надписью поставили; да как наши вернулись, я и крест порубал и могилу по ветру развеял... Чтоб и следу от этой погони не осталось...

Рассказать, говорите? Ну, слушайте!

...Приближались фашисты—обезлюдено наше село. Несколькo старых баб только и осталось. Оказался и я на том берегу, в лесу, в партизанах... Обед хлопцам варил, коней пас. Ну и разобрала меня охота поглядеть, кто же это в моей хате теперь за хозяина? Я ведь бобылем жил, один как перст. Вот

как-то пробрался я к речке, когда уже смеркалось, вытащил из камышей челн, сел, поплыл, да и высадился десантом на своем берегу. Высадился десантом, а потом перебежками, перебежками, промеж подсолнухов да за сараем в лопухах и замаскировался. Замаскировался и сидю. А в хате, вижу, свет горит, разговор слышу, кто-то вроде петь пробует.

Я сидю, дожидаясь: пускай, думаю себе, позасыпают, тогда уж я приму решение. Долгонько-таки пришлось дожидаться. Наконец слышу: дверь на крыльцо — скрип; выходят трое. Двое, вижу, фашисты, а третий — Панько Нужник. За старосту они его назначили. Отец его у нас лавочку держал, а сын — паскуда эта сопливая — выплакал, чтоб его в колхоз приняли... А теперь, ишь ты, ста-ро-ста! Вышли и прямоком к сараю. А в сарае у меня наверху было сена немного... Так это Панько их туда ночевать ведет. А то в хате душно. Влезли они на сеновал и улеглись. Слышу — храпят. Я из лопухов потихоньку, на цыпочках, и — в сарай. А в руках у меня вилы-тройчатки, железные. Я как размахнусь, да сквозь настил вилами — раз, два, три!

Как заверещат они там, как закричат:

— Вас ист даc?

А Нужник:

— Ой, рятуйте! Кто-то снизу из зенитки бьет!

«Ага, думаю, сукины вы дети! Уже вам мои вилы зениткой кажутся. Погодите, не то еще будет!» И опять перебежками, перебежками на берег к челну и — на ту сторону. За три дня подышали они все трое, — так мне потом наши селяне рассказывали. Я им вилами животы пропорол. Вот какое у меня с врагом соприкосновение было.

— Сколько же вам, дедушка, лет?

— Да кто его знает! То ли семьдесят девять, то ли восемьдесят девять. Разве сосчитаешь? Знаю, что девять, а к чему эти девять — уж и не скажу.

— Как же это вы не побоялись один против троих?

— Побоялся? Да, человек божий, война — это ж мое родное дело. Я же весь свой век воевал... С бабой. Лукерьи моей знавать не приходилось? Такие разве сраженья бывали, как с этими песьими головами на чердаке! Да я их, как крысят, передавал!

А покойница моя — царствие ей небесное, — да она б одна на дивизию с ухватом пошла. Уж на что мы с кумом, упокой его душу, господи, вдвоем, бывало... Да куда там!

Сидю, к примеру, я под поветью, зубья к граблям тещу, а она выйдет на крыльцо да как пальнет:

— Свирид!

Верите, топор у меня в руках сам собою скок, скок, скок! Как на теперешнюю технику—так чисто тебе «катыша». С ней я так напрактиковался, что никакая мне война уже не страшная. Наступать на Лукерью, правду сказать, не наступал, больше отбивал атаки. А воевать приходилось чуть не каждый день.

Как-то раз в воскресенье мы с кумом, еще и к «Достойно» не звонили, не выдержали: клюкнули. И порядком-таки клюкнули. А тут Лукерья из церкви!

— Держись, кум,—говорю,—битва будет! Коли в одиночке—разобьет. Давай образуем войсковое соединение, а не то—разгром! Перемелет живую силу и технику!

Образовали мы соединение. Только она на порог, я сразу вроде как на «ура»:

— Ты чего это по церквям до полудня шатаешься? Поп медом потчует, что ли?

А кум с правого фланга заходит. Но тут у нас ошибка организационная вышла: ухзатов мы не спрятали. Ох! Она за ухват и в контратаку! Прорвала линию обороны. Мы с кумом на заранее подготовленные позиции—в погреб. Вроде опорный пункт.

Уже и пироги остыли, а она нас в погребе в окружении держит. Сидю я за бочкой с квасом, дремлю.

Кум и говорит:

— Ты как знаешь, Свирид, а я к своим пробиваться буду. У моей Христи тоже сегодня пироги.

— Гляди,—говорю,—кум, тебе виднее. А лучше не рискуй засветло, подожди, пока смеркнется.

— Что ты, Свирид, смеркнется! Да какие ж вечером пироги?!

Перекрестился кум и рванул в Н-ском направлении. И так пробился в расположение своей Христи. Правда, ухватом его все же контузило, однако с ног не сбило!

А я до самой темноты в окружении за бочкой просидел. Только к вечеру немножко помягчала Лукерья.

Подходит, открывает погреб.

— Сидишь?—говорит.

— Сидю,—говорю.

— Иди хоть галушек поешь, а то ноги протянешь.

— Брось,—говорю,—ухват, тогда выйду.

Боевая была покойница.

Было с нею и стратегии и тактики. Где только мы с кумом не маскировались: и в картошке и в коноплях... Так нет же, сразу, бывало, обнаружит. Обнаружит и вытеснит. И теснит, бывало, до самого водного рубежа, до речки. А плавать мы с кумом не умеем. Стоим у водного рубежа, на дистанции, чтоб ухватом не достала. Стоим, мокнем.

А она:

— Мокнете? Мокните, иродовы души, я из вас еще кудель трепать буду!

Да после такой практики мне с этими вшивыми фрицами и делать нечего было. Эх, жаль, кума нет. Мы бы с ним в соединении и не то еще показали!

Кум и летчик сильный был. Ас!

Трясем мы как-то с ним кислицу. Залезли на дерево и трясем. А яблоня высокая была, раскидистая. Фашисты проклятые ее срубили. Лукерья в подол кислицы собирает. Трясли, трясли, давай, думаем, закурим. Трубки в зубы, кум огонь высекает... И вдруг как загремит:

— Опять за курево?!

Так мы с кумом р-раз! И — в пике. Кум-таки приземлился, хоть и скапотировал, а я из пике — в штопор, из штопора не вышел, протаранил Лукерьян подол и врезался в землю! Через полчаса только очухался, моргнул глазами, смотрю слева: стоит кум, аварийное место почесывает, справа — Лукерья с ведром воды. Шевельнулся — рули поворота ни в руках, ни в ногах не действуют, кабина и весь фюзеляж мокры-мокрехоньки, и обшивка лопнула.

— Живой, слава богу, — говорит кум.

А Лукерья:

— Был бы он, — говорит, — живой, когда б не моя кубовая юбка! Пусть скажет спасибо юбке, что его задержала, а то захряс бы в землю по самый руль глубины! Эх, летчики, — говорит, — молодчики!

А вы спрашиваете: как это я трех гитлеровцев не испугался? После такой практики! Выдумаете тоже!

— А что теперь подельваете, дедусь?

— Пришли наши — я демобилизовался. Больно уж быстро немцы бегут, мне не догнать! Пусть уж кто помоложе гонит! А я вот ребятишкам, что в детском саду, свистульки делаю. Такие утешные детки! Да колхозное стадо из эвакуации поджидаю. Надо ж откормить, надо выходить его после поганого фрица. Эх, кума бы мне, мы бы с ним вдвоем... Хотите, может, «зенитку» мою посмотреть? Вот она!

И дед Свирид нежно погладил свои вилы-тройчатки.



„Блиц-криг“

Сидели мы как-то с дедом Свиридом на чурбане, беседу вели. С запада надвигалась иссиня-черная туча, пахло дождем, вдали гремело, и разрезали небо молнии.

— Глядите,— говорю — дед Свирид, на небе блись-блись выходит, а у Гитлера не вышло. А сколько тех воплей было: «Блиц-криг», «блиц-криг»! А на деле вышло: «пшик-криг»! Почему это так, дед Свирид, а?!

— Как не вышло? Вышло, еще и как вышло! У Гитлера еще покрепче вышло, чем у цыгана.

— Какого цыгана?

— У Михея.

— У какого Михея?

— Михея не знали?

— Нет.

— Тю! Что же вы тогда знали?! Было это давненько, еще и на первую мировую войну не завязывалось. Молодым я тогда был, не более как лет, можег, шестьдесят пять. Стерег я в тот год баштан. В нашем селе тогда цыган жил. Михей. Всем цыганам цыган. Летит, бывало, на коне, так не разбери-бери: не то конь его мчит, не то он коня ногами несет. Частенько наведывался ко мне на бахчу. Ходит, бывало, приглядывается.

— Арбузы,— говорит,— у тебя, Свирид, отменные.

— Арбузы,— говорю,— неплохие.

Созрели арбузы.

Однажды по ночи, вот точно как сейчас, очень нахмурило. Началась буря... Гром, дождь, молния... Я в сторожке укрылся, а сам с баштана глаз не спускаю. Как блеснет молния — на баштане, ровно на ладони, все видать. Блеснуло — я и помечаю: кто-то из ярка в арбузы полез. Я за вилы да по-над ярком и сам туда. Блеснет молния — пригнусь, стемнеет — подбегаю. Подбежал, присел в полын на меже. Блеснуло — вижу: кто-то в чувал арбузы собирает. Я — ближе. А оно гремит, а оно гремит! Приблизился я прямехонько к вору...

В эту секунду как блеснет,—я его тройчаткой—шашь! — а он только—вё! — да в ярк, что твой вихрь! И мешок забыл. Я, по правде, и не приметил, кого благословил. Увидал только спину, да и то на миг один...

На другой день приходит ко мне Михай. Гляжу — невесел.

— А нет ли у тебя,—спрашивает,— Свирид, шкипидару или чего другого? Поясницу здорово ломит. Давеча,—говорит,—буря лютовала, так молнией меня как шарахнуло!.. И что это,—говорит,—за сила божья: раз блеснула, а на пояснице целых три кровавых полосы...

— А ты,—говорю,—Михей, может, арбуза бы съел? От поясницы, бабы, брешут, куда как пользительно.

— Сгнить бы им,—отвечает,—арбузам твоим!

Вот такое было...

— А при чем тут, дед Свирид, Гитлер? И к чему «блиц-криг»?

— А к тому Гитлер и к тому «блись-криг», что Гитлер этот с чувалами по Советскому Союзу блицал-блицал, а Красная Армия как блицнула — вон сколько кровавых полос на спине у Гитлера... Считай: Волга — одна, Дон — вторая, Днепро — третья, Буг — четвертая, Днестр — пятая. Это большие полосы, а сколько малых? Да не простые полосы, а с «бубликами». На Волге — бублик, у Кривого Рога — бублик, у Корсуня — бублик, у Тернополя — бублик, в Крыму — бублик. Это большие бублики, с маком, а сушек сколько! Так как, по-твоему, не вышло «блись-крига»? Вышло! А сколько еще выйдет! Дай только, боже, здравствовать Красной нашей Армии, а она еще так «блицнет»...

1944



*Доншоринский
инструмент*

Ю

рко Лоза, машинист врубовой машины, комсомолец, русский и веселый хлопец, когда, бывало, встречал пенсионера Ивана Федоровича Вернигору, потомственного и почетного отбойщика, «всего только» пятьдесят четыре года

проработавшего на шахте, так этот самый Юрко Лоза (между прочим, рекордист!) подбрасывал вверх кепку и весело восклицал:

— Старикам почет!

— Здоров! Здоров! — отвечал Иван Федорович и приветливо улыбался...

Юрко подбегал к Ивану Федоровичу, крепко жал ему руку и неизменно произносил:

— Нет, что вы себе там ни говорите, дедушка, а врубовая машина не обушок... Пока вы своим обушком тят-ляп, я своей врубовой тонну да тонну, тонну да тонну... Так или не так?

— Так-то оно так, а все не смейся, Юрко, и над обушком. Обушок свое дело сделал... Да еще кое-где и продолжает делать... Только у вас, у молодежи, насчет обушка гайка слаба...

— Ну, уж и слаба...

— А что, скажешь, не слаба?

— Доисторический инструмент...

— Исторический какой нашелся! А ты вот попробуй доисторическим; любопытно, каково у тебя получится?

Вот так, бывало, Юрко с Иваном Федоровичем при встрече обязательно пошумят.

А нужно вам сказать по секрету, что Иван Федорович очень любил Юрка. Да и Юрко, если не встретит дня два Ивана Федоровича, непременно постучит к нему в окошко:

— Почему это вас не видать, дедушка? Обушок подтачиваете, что ли?

— Нет, с врубовкой твоей целуюсь...

Так было до войны.

А когда немцы захватили шахту, Юрко Лоза стал комсоргом в партизанском отряде и истреблял фашистскую погань, а Иван Федорович целыми днями сидел у окна, печально смотрел на улицу и, когда мимо его двора проходила вражеская каска, яростно сжимал кулаки.

А возле него на лавке рядышком лежал его старый и верный товарищ — обушок...

Ганна Петровна, жена Ивана Федоровича, хлопотала у печи, прибирала в хате... И все молчком, все молчком!.. Иногда только глубоко вздыхала.

Мрачной, черной завесой заволочло весь Донбасс, а вместе с ним и шахту, где всю жизнь проработал Иван Федорович

Вернигора и где ставил рекорды машинист врубовой машины, комсомолец Юрко Лоза...

Однажды осенним вечером в хату Ивана Федоровича влетел запыхавшийся Юрко:

— Спрячьте!

Иван Федорович вмиг открыл в сенях чуланчик и втолкнул туда Юрка.

Ганна Петровна придвинула к двери чулана бочку с водой.

Едва только успели они спрятать Юрка — стук в дверь...

В хату ворвался рассвирепевший гитлеровец:

— Где партизан?

— Нету у нас никакого партизана, — сказал Иван Федорович.

Фашист оттолкнул Ивана Федоровича и ударил прикладом Ганну Петровну...

Обшарив хату, он выскочил в сени, опрокинул бочку с водой и рванул дверь в чулан.

Иван Федорович схватил обушок, вышел в сени и, когда гитлеровец, нацелившись, присел, чтобы высадить дверь прикладом, Иван Федорович взмахнул обушком, да так, как взмахивал им в забое пятьдесят четыре года подряд...

Был когда-то немец жив...

И не в Дрездене, и не в Мюнхене догнивал он, а в старом, давным-давно заброшенном шурфе, куда Иван Федорович, вместе со спасенным Юрком, спроводили его.

Когда восстановили после фашистского нашествия шахту, Ивана Федоровича каждое утро можно было встретить у проходной, — семьдесят три года его не останавливали, и обушок на его плече поблескивал.

Юрко подходил к Ивану Федоровичу и пожимал ему руку:

— Доброе утро, дедушка!

— Здоров, Юрко! Как здоровьице?

— Спасибо! Пошли, доля, обушку вашему многая лета!

— А врубовая?

— Врубовая, дедушка, хороша в забое, а возле чулана ею махать не с руки...

— Так что, говоришь, инструмент доисторический?

— Ой, дедушка, исторический! Да ведь и история хороша!

— То-то ж оно и есть!



Наша Москва

В

энциклопедии сказано:

«Климат Москвы умеренно-континентальный. Средняя температура плюс 4°...»

Смотря для кого...

Для нас, украинцев,—и это за последнее время подтверждается множеством примеров—климат Москвы теплый, полезный, а температура в Москве для украинцев не плюс четыре градуса, а во много раз выше.

В 1812 году наполеоновскому войску в пылающей Москве было не очень тепло, ему даже было чересчур холодно, и многие наполеоновские маршалы и генералы никак не смогли отогреться от горячего дыхания народных мстителей.

И, наоборот, гитлеровским псарям-рыцарям, когда они сунулись было в 1941 году к Москве, им, несмотря на холодную осень, было очень жарко. И бежали они, как ошпаренные...

Да это и понятно: температура — она меняется в зависимости от всяких там атмосферных и иных явлений... Одно слово — синоптика!

... Автор этих строк вырос на Украине, когда Украина еще

была Россией, а Россия была царскою, и в Москву впервые он попал тогда, когда Россия была РСФСР, а Украина — УССР.

Было это в году 1923-м.

Что больше всего поразило автора этих строк, когда он впервые ступил на московскую землю, впервые вдохнул московский воздух в свою полтавскую грудь?

Ну, разумеется, просторы могучего города, водоворот московской жизни, старинный Кремль — все это так...

Но что все-таки больше всего удивило и покорило, просто очаровало его?

Русская речь! Московский говор!

Вскормленный полтавскими галушками и пампушками, толчениками и варениками, автор учился, конечно, в русской сельской школе (украинских школ при царизме не было), но русская речь для него была тогда весьма трудной и непонятной.

С русским языком он сталкивался только в книге, да на русском языке еще говорили солдаты, возвращавшиеся домой из армии. Девчатам было явно не по себе, когда такой вот кавалер, сидя на завалинке, начинал изъясняться «по-русскому»:

— Девушки, я вас, канешно, не узнаю!

Так что в обыденной жизни, так сказать, в обиходе, автору не доводилось слышать настоящей русской речи. Он читал книжки, слушал лекции, на прекрасном литературном русском языке произнесенные. Но хорошей, настоящей русской речи, да еще московской, ему не случалось слышать.

И вот автор в Москве, на Ленинских, тогда еще Воробьевых, горах.

Автор поехал туда просто для того, чтобы поглядеть на Москву сверху...

Тогда, насколько помнится, еще не было там высотного здания Московского университета имени М. В. Ломоносова, а были там довольно простенькие одноэтажные домики с палисадниками, с цветами, с геранью на окнах, с лавочками у ворот.

Автор сел на одну из таких лавочек, а у ворот резвилась целая стайка маленьких москвичей, дошколят.

Было тепло, над Москвой светило солнце. Город был весь в легкой прозрачной дымке, и оттуда, из Москвы, докатывался неумолчный гул, как это бывает в пчелином улье, если приложить к нему ухо.

Ребятишки бегали, играли «в классы», прыгали через скакалки, копошились в песочке, лепили из песочка «куличики», домики, крепости...

И говорили, говорили, говорили, словно воробышки чирикали.

Автор прислушался и... оторопел.

Детишки говорят по-русски! Да как! Чисто-чисто! Да с таким произношением! Точно поют какую-то песенку-считалочку!

А надо вам знать, что до того автору приходилось видеть и слышать детей, которые говорили только по-украински. А если и случалось, что дети говорили по-русски, то одно слово действительно было русское, три слова украинских, а остальные — полурусские и полуукраинские...

А тут чистейшая русская — да еще московская! — речь!

Прислушиваясь, автор так и прирос к лавочке.

Потом он стал с детьми играть и разговаривал с ними: ему так хотелось вдоволь насладиться московской речью...

Иногда, услышав из детских уст какое-нибудь слово, автор долго соображал, что же оно обозначает! Сразу не разрешишь...

Вот беленькая курносенькая девочка выскочила из двора с криком:

— Ички! Ички! Ички!

«Что же оно такое эти «ички»?» — напряженно задумался автор.

А у девочки в руках разноцветные деревянные яички: она их вынесла только что из дому.

Оказывается, вот что:

— Яички! Яички! Яички!

А девчушка быстро-быстро-быстро:

— Ички! Ички! Ички!

Автор сидел долго, все слушал и любовался маленькими москвичами и думал:

«Гляди! Вот какие маленькие, а как по-русски чешут! А ты дожил уже до послепризывного возраста, а никак до сих пор себя не приучишь, к примеру, произнести чисто по-русски:

— Я же вам г (к)аварил!

Хоть убейся, а у тебя выходит:

— Я вам г(х)оворив!

И в Москве любой собеседник тебя сразу узнает:

— Вы из Киева?

— А разве у меня на лбу написано?
— На языке! Каллиграфически выведено!
А в Москве, видите, даже маленькие детишки чудесно да как красиво говорят по-русски!»

* * *

Матушка Москва.

Да, матушка... Для многих народов во всех смыслах Москва — матушка.

Даже для Киева она матушка, хоть Киев и сам, как известно, мать городов русских.

Единственный в мире, всеми признанный случай, когда мужчина — Киев — считается матерью.

И никого это не удивляет. Ибо так оно и есть! Истории не изменишь.

Мы, украинцы, любим Москву, и любовь наша все больше крепчает, так как мы убедились, что вместе с Москвою мы никогда не уподобимся той воспетой кобзарями чайке, «которая вывела чаеняток при битой дороге...».

Но мы убедились и в том, что и Москва очень любит нас, украинцев.

Во время декады украинской литературы и искусства в Москве наши женщины, осматривая достопримечательные московские памятники, разумеется, не миновали ГУМа, и, чего правду скрывать, ГУМ им очень по сердцу пришелся...

Москвичкам ГУМ тоже нравится, и в некоторых особенно интересных местах там даже образуются очереди желающих ознакомиться с теми или иными гумовскими экспонатами.

Москвички, как убедились, очень строго оберегают законность очереди.

Чтобы познакомиться с каким-то особенно примечательным гумовским экспонатом, наши женщины стали в очередь и заговорили между собой. Заговорили, естественно, по-украински.

И можно представить себе их удивление: москвички, стоявшие перед ними, обернулись и спросили:

— Украинцы?

— Да, украинцы!

И москвички, не сговариваясь, наперебой им предложили:

— Просим вас! Становитесь впереди, а мы — за вами!

И очутились наши женщины прямо перед экспонатами первыми!

А когда они вернулись в гостиницу, размахивая перед удивленными мужчинами гумовскими экспонатами, мужчины просто не поверили:

— Неужели? Как?

Женщины, перебивая друг друга, рассказывали о том, какое внимание, любезность и любовь проявили к ним очаровательные москвички.

— Да! Это настоящая-таки любовь! С самопожертвованием! — согласились мужчины.

* * *

Москвичи любят украинский язык.

Когда автор этих строк и поэт Платон Воронько читали в одном из московских парков культуры и отдыха свои произведения, они спросили слушателей, все ли им понятно и не нужно ли перевести на русский.

— Что вы?! Что вы?! — раздалось отовсюду. — Мы прекрасно понимаем ваш чудесный язык.

Когда-то мы, украинцы, побаивались так называемой русификации на Украине...

Мы должны констатировать, что русификация нам теперь и во сне не снится, а вот Москва на наших же глазах, пожалуй, украинизируется.

Судите сами...

Московские девушки, да и не только московские, — все русские девушки, процентов, должно быть, так примерно на семьдесят пять уже называют себя «девчатами».

Имя Остап было только у Гоголя в «Тарасе Бульбе» и у Остапа Бендера. А теперь оно очень часто стало появляться и в прозаических и в драматургических произведениях русских беллетристов и драматургов.

Русское имя Николай все больше заменяется украинским Микола. Пока что остался Николай Матвеевич Грибачев, но и он под угрозой. Ксения переключается на Оксану, Петр — на Петро, Павел — на Павло.

А чудесно нежная:

Во поле береза стояла,
Во поле кудрявая стояла...—

все чаще и чаще перекликается с раздольной, как украинская степь:

Розпря-гаа-а-а-йте, хло-о-о-опці, коні...

И от всего этого русская культура становится все краше—древняя, хорошая, глубокая культура нашего великого брата!

.....

Нашей Москве, нашей матушке Москве, низкий, сердечный поклон от вечного и широкого друга и брата!

1954



Львов

Так вот он какой, этот гордый красавец город, это княжеское Данилово дитя, названное основателем своим—Львов.

Теперь понятно, почему на протяжении многих веков переименовывали это Данилово дитя то в Лемберг, то во Львув, то снова в Лемберг, то снова во Львув.

А он стоял, гордый, непоколебимый, могучий и кудрявый. Стоял, как скала, не шевелясь, когда на его каменной груди вытанцовывали его временные хозяева то немецкий вальс, то шляхетскую мазурку.

Он стоял и ждал. И он дождался.

В 1939 году пришла воля. Пришла Красная Армия.

Великий Советский Союз протянул руку освобождения украинцам западных областей и соединил их с братьями великой Советской Украины в единой семье народов Советского Союза. Он возвратил Львову его настоящее имя, которое на протяжении многих веков городу приходилось слышать только от немногих людей, да и те произносили его шепотом, оглядываясь во все стороны.

Народ страдал и, страдая, молчал.

Лучшие его представители, во главе с великим Каменярём Иваном Франко и Василем Стефаником, погибли в неравной борьбе.

И вот народ свободен, а Львов снова Львов.

Два года великого торжества и всенародной радости.

Но в 1941 году фашистско-немецкий боа-констриктор обвился вокруг тела красавца города Львова.

И снова он Лемберг.

Но уже не на века и многовековья, нет!

Красная Армия снова вырвала его из страшных «объятий» удава, и снова он Львов.

И теперь уже навсегда, на веки веков.

Еще раз: теперь понятно, почему его так переименовывали, почему к нему так тянулись и австрийские, и угорские, и немецкие, и шляхетские руки, почему так немилосердно и кроваво обрубали руки и головы его действительному хозяину — украинскому народу.

Теперь понятно, почему так любил его ватиканский папа, и габсбургская мама, и гогенцоллернский дядя, и собецко-потоцко-шептицкая тетя, и даже угорский дедушка с бабушкой и почему король Ян III так гордо скачет на бульваре Легионов на копии с коня Богдана Хмельницкого и указывает копией с Богдановой булавы прямо на Киев!

Еще бы!

Прибрать к рукам такой лакомый кусочек — прекрасный город, да еще руками чужого народа построенный, — кто, скажите на милость, откажется?

Львов изранен военными боями, но не с каждым днем, а с каждым часом его раны заживают, лица у жителей Львова яснеют, вода в водопроводе шумит, электрический ток по проводам бежит, красноармейские песни звучат, школьники толпой несутся в школу и из школы, степенно шествуют на работу служащие, мчатся автомобили, дворники чистят и подметают улицы, театры и кино открыты.

Город дышит полной грудью.

Но если вы следите за движением на львовских улицах, вы можете заметить многое, не похожее на наши, хотя бы киевские улицы.

Вот идут двое. В черных мантиях, на голове большие черные платки, которые спускаются своими концами до пояса, а то и ниже. Платок над лицом обшит белой-белой каймой, а под подбородком широкий, гофрированный белый-белый воротник. Это монахини.

Немало во Львове монастырей — и мужских и женских.

Есть тут бернардинцы, доминиканцы, францисканцы, бенедиктинцы и т. д.

Советский народ с уважением относится ко всякой религии, а что касается меня лично, то, тоже относясь с уважением ко всем монашеским орденам и особенно к бенедиктинцам, я абрикотинец.

1946



„Судьба“

Сидели мы как-то с Евгением Тимофеевичем Коржем и пели романс «Мой костер».

Когда дошли до места, где поется: «Кто-то мне судьбу предскажет»,— остановились и задумались.

— Кто же мне судьбу предскажет?— спрашиваю я у Евгения Тимофеевича.

Евгений Тимофеевич Корж, подумав немного, ответил:

— Поскольку,— говорит,— мне еще не полных шесть лет, меня, отец, судьба мало интересует. Интересует меня больше курятина, огурцы и кахветы.

Кахветами Евгений Тимофеевич на полтавский манер называет конфеты.

— Так вот, отец,— говорит дальше Корж,— если тебя интересует твоя судьба, возьми тридцать рублей и иди на Галицкий рынок, там сидят люди, которые очень верно разрешают самую запутанную человеческую судьбу. Да возьми еще пять рублей и купи мне сладкого петушка. Вот и все!

Я так и сделал. Взял тридцать рублей на судьбу, пять рублей на сладкого петушка и помчался на Галицкий базар.

Евгений Тимофеевич не ошибался: действительно, на Галицком базаре сидит много людей и с картами и с книгами, людей, заправляющих судьбой человеческой.

Толпятся около тех людей и девочки, и молодые женщины, и старушки.

Сидит, опершись на щеку, перед оракулом молодка и слушает гнусаво-монотонное:

— И родились вы, гражданочка, под планетой Венерой. Жизнь ваша была, гражданочка, и с удачами и неудачами. Червонный король, о котором вы думаете, что его нет, но, наоборот, гражданочка, он есть. Перед спасом, за два дня, получите неожиданное известие, которое известие будет расширяться аж до покрова. И если за это время вы не получите известия, что его нет, то август — сентябрь, эти два месяца, все разъяснят. А несчастливые ваши дни — вторник и пятница. Этих дней берегитесь. И будет вам дорога, может, длинная, может, короткая, но будет.

Гражданочка плачет, плачет.

— Если что непонятно, спрашивай, гражданочка, — говорит оракул.

Из-за слез ничего не может спросить гражданочка.

Слезы эти, может, от горя, что его нет, может, от надежды, что он придет.

Много-много слез капает на мостовую возле тех мест, где сидят слепые, в темных очках, люди со страшными, непонятными, мудрыми, все знающими книгами в руках.

«Вершители судеб...»

Долгонышко постоявши в очереди за судьбой, присел и я...

— Год и месяц вашего рождения? — спрашивает.

«Единственное место, — мелькнула у меня мысль, — где могу пройти за двадцатипятилетнего парубка».

Потому что, ей-богу, ну так хочется быть двадцатипятилетним! Опротивело мне уже такое состояние, что, когда доходишь до Оперного театра, так мыслью поворачиваешь на Владимирскую горку, а ноги сами собой тянут в противоположном направлении, к Байковскому кладбищу.

— Двадцатого года рождения, в октябре, — говорю.

Родился я, значит, под планетой «Палладой».

Планета, выходит, подходящая, потому что и до сих пор позволяет пребывать мне в молодости, ничего неприятного не сделала и не собирается. Что правда, то правда, — мне нужно остерегаться трефового короля в казенном доме, потому что этот король готовит мне что-то страшноватое.

Но от трефового короля меня будут охранять целых два благородных короля — червонный и бубновый — и в обиду тревовому не дадут.

Счастливых дней у меня на неделе целых четыре: вторник, четверг, суббота и воскресенье.

Путешествовать мне нужно только на восток, север и юг. На запад—ни в коем случае, потому что запад для меня несчастливый.

Остерегаться нужно простуды и плохой еды, потому что, когда сильно простужусь или объежусь, то это может повредить моему здоровью.

По железной дороге могу ехать без всякого страха, только не нужно ложиться на рельсы перед тем, как должен пройти поезд.

На самолетах тоже можно летать безбоязненно, только не рекомендуется прыгать с самолета, пока он не приземлился.

Если так буду жить, проживу пятьдесят четыре года.

В августе или в сентябре (не позднее мая) меня ждет денежный интерес.

Тут уж я не знаю, сколько этого «интереса» будет: хочется, чтобы побольше и поскорее...

Женюсь через год, на 26-м году своей молодой жизни.

Детей будет двое: мальчик и девочка.

На сердце у меня червонная дама.

Вот тут уж я растерялся, потому что А. А. Чайка, известный профессор, говорил мне, что у меня в сердце миокардит.

А в самом деле, видите, это не так: не миокардит, а червонная дама...

Схватишься иногда за сердце и думаешь: «Что это там жмет?»

А оно, видите, что: сидит в левом желудочке червонная дама, красит губки и за венозную артерию сердце дергает. Вот и перебои.

— Понятно?—спрашивает оракул.

— Очень,—говорю,—понятно.

— А теперь можете спрашивать, что вас еще интересует?

— Скажите, пожалуйста, сколько трудней затрачивают на базар—ну, хотя бы на вот этот Гатицкий базар—разные спекулянты, мошенники и всякие такие подозрительные людишки? И сколько гектаров пшеницы, ржи или буряков можно было бы убрать, если бы они поработали это горячее время на жатве?

Второй вопрос:

— Почему на базаре можно купить газету за пять рублей, даже «Правду» в день ее выхода, а в киосках «Союзпечати» ничего нет, а если что-то и появляется, перед этими киосками собираются длиннющие очереди?

Третий вопрос:

— Кто следит на базаре за санитарным состоянием местных «рестораций»? Кто отгоняет мух от еды и где моют руки «рестораторы»?

Четвертый вопрос:

— Отберет ли еще что-нибудь у ветеринарного врача секретарь Димеровского райпарткома Волков, потому что, заездив свою кобылу, коня он от врача уже отобрал?

Пятый вопрос:

— Почему в некоторых драмах молодую героиню убивают в конце пьесы, а не перед спектаклем?

Шестой вопрос:

— Какая планета ведает изданием наших периодических журналов, и будут ли они выходить своевременно, то есть в том году, которым они помечены?

Седьмой вопрос:

— Когда, наконец, наведут порядок в сквериках на Софиевской площади? Была там трава, была детская площадка. Перерыли, перекопали, недокопали и так оставили. Детям негде играть, пыль, грязь. А сколько всегда экскурсантов возле памятника Богдану? И кто перед ними и перед детьми будет краснеть?

И, наконец, последний вопрос:

— Спасибо вам за предсказанную мне неплохую судьбу, но скажите на милость, долго ли еще вы будете людям морочить голову? Я понимаю, что и оракулам нужно есть, но разве вы не знаете, какие прекрасные ширпотребовские вещи вырабатывают незрячие люди? Разве вы не знаете, что они работают на заводах, прекрасно управляют станками и т. д.? Зачем же сидеть на базарах и обманывать доверчивых женщин? Кому все это нужно?

Не ответил мне оракул на все эти вопросы.

— Планета «Паллада», — говорит он, — всем этим не заведует. Этим всем руководит, — говорит, — другая планета, а может, не планета, а планет... К ним, — говорит, — и обращай-тесь...

Придется...



Шутки шутками...

Однажды в нашей газете был напечатан мой фельетон «Здравствуйте!».

В том фельетоне помечтал я немного о том, какими должны быть в отношениях между собой наши граждане и в учреждениях и на улице (в трамваях, троллейбусах и т. п.).

Коснулись мои мечты и загсов.

И вот получил я на тот фельетон от читателей несколько ответов.

Очень интересный отзыв поступил от гражданки Зинаиды Андреевны К.

Зинаида Андреевна пишет, какие мечты у нее вызвали мои мечты о загсе.

«Представим себе,— пишет З. А.,— светлое, красивое здание. Чудесные к нему ступени. Подъезжает машина, выходят шафера: военные в мундирах, с орденами, в белых перчатках, штатские в черных костюмах и тоже в белых перчатках, дружки в нарядных платьях, с букетами живых цветов. Жених и невеста торжественно входят в брачный зал, хор или оркестр встречают их кантатой, специально для этого написанной нашими композиторами. Может быть, не кантата, а туш, марш или что-то другое. Их встречает и торжественно проводит регистрацию солидный гражданин, депутат городского Совета, тоже соответственно одетый, хороший оратор, который произносит не стереотипную приветственную фразу, а речь, соответствующую положению, возрасту и т. д. жениха и невесты. Чтобы было весело, остроумно и чтобы отвечало духу нашего времени. Снова—музыка или хор, и гости поздравляют жениха и невесту. Народу полно. Все торжественно идут по ступеням к машинам...

— Эх,—добавляет с грустью Зинаида Андреевна,—если бы можно было вернуть годы, «повенчалась» бы снова со своим

мужем, хоть и прожила уже с ним двадцать пять лет, лишь бы снова пережить это торжество!»

Согласен, уважаемая Зинаида Андреевна! Подписываюсь под этим обеими руками!

День брака в человеческой жизни — один из самых торжественных и самых памятных дней, день начала новой жизни, и его надо делать и внешне приметным и торжественным.

С некоторыми отличиями, но так же торжественно надо проводить и регистрацию рождения: ведь регистрируется же новый гражданин Советского Союза!

Своим письмом, Зинаида Андреевна, вы и меня взволновали.

Были бы у нас такие, рожденные вашей мечтой, загсы, и я бы, наверное, не прочь еще раз «перевенчаться». Чтобы и шафера, и дружки, и музыка, и туш, и кантата!

Только не говорите об этом моей жене, а то она мне покажет загс!

* * *

Другой «мечтатель» тоже приблизительно представляет себе загсы так же, как и Зинаида Андреевна К., но добавляет к этому еще одну интересную деталь.

Он мечтает о том, чтобы при загсах были устроены буфеты, а то и рестораны, где молодые могли бы себе заказать свадебный обед или просто пройти в буфет, и чтобы депутат, устраивающий им регистрацию, поздравил их бокалом шампанского!

Неплохо!

Только в этом случае надо иметь запасного депутата, потому что если, к примеру, регистрировать одну за другой пар пять-шесть, то уж для седьмой пары одного депутата не хватит...

Он может такую речь после шести бокалов шампанского сказать, что невесте фатой придется закрываться.

Все это мечты...

Хотя у меня нет никаких сомнений в том, что эти мечты в той или иной мере вскоре осуществляются.

* * *

А пока что...

А пока что такое письмо:

«Задумал я жениться. Вот уже четыре раза ходим в загс и возвращаемся ни с чем. Дело в том, что я и моя невеста

работаем. Наш свободный день воскресенье. Пошли, а загс тоже выходной. В другие дни загс работает до 5-ти часов, а мы тоже работаем до 5-ти часов. Наконец мы отпросились в загс в 4-м часу, дошли до него, а уже было без двадцати пять, и не пустили даже в помещение. Возле загса стояло еще таких незадачливых три пары. В загсе Ленинского района очень грязно и т. д. и т. п.».

Таковы пока что наши загсы! К сожалению!

Справедливые нарекания.

Такое учреждение, как загс, безусловно, должно работать в воскресенье, поскольку есть много таких людей, как автор вышеприведенного письма.

* * *

Ну, когда же мы все-таки свои загсы упорядочим?

А может, нам нужно председателем горсовета избрать холостяка?

А когда он выберет себе невесту, обратится к той невесте с петицией:

— Не иди, голубушка, с ним регистрироваться, пока загс не упорядочат!

1946



*Космическая
катастрофа*

Вчера, в шесть часов утра, внезапно в двери:
«Стук-стук!»

Это на меня не очень подействовало.

Как вдруг снова в двери, и уже не «стук-стук», а «хлоп-хлоп!».

И так нервно и даже как-то осатанело.

Пришлось вскочить с постели и бежать босиком к дверям, потому что у кровати не было ночных туфель, которые еще в прошлом году обещал вырабатывать Кожпромтрест, или Промкожтрест, или еще какое-то такое очень важное объединение из породы «ширпотреба».

— Кто там?

Из-за дверей послышалось хриловато-перепуганное:

— Я!

— Кто я?

— Агриппина Титовна!

— Что случилось?

— Оторвалось!

— Заходите, прошу вас,— говорю,— только простите, что пуговицы нет там, где ей положено, поскольку пуговицы,— говорю,— еще в плане «ширпотреба», и я не могу пожать вашу благородную руку своей рукой, поскольку моя,— говорю,— рука держит за то место, где положено быть пуговице! Иначе...

— Здравствуйте!— влетела Агриппина Титовна.— Оторвалось! Боже ж мой!

— Что,— спрашиваю,— оторвалось? Откуда оторвалось? И почему именно оторвалось?

— Солнце оторвалось!

— Солнце оторвалось?

— Оторвалось!

— Полностью оторвалось?

— Нет, не все, а лишь кусок! Только не маленький кусок, а большой кусок! И летит!

— Куда летит?

— На землю летит!

— Зачем летит?

— Все испепелит! Страшный суд! Простите мне все, чем я, может, против вас согрешила!

— Прощаю,— говорю.

— И вторично?

— И второй раз прощаю!

— И в третий раз?

— И в третий раз,— говорю,— прощаю!

— Да как станем на страшном суде перед всемогущим, скажите, что я хорошая. Клянусь, только раз три полена дров у вас взяла да раз у прокурора показала, что вы тут, в этой квартире, никогда не жили, хотя и жили вы тут еще до войны

двенадцать лет. Простите, умоляю вас, испугалась я, да управдом обещал теплые рейтузы купить.

Крепко меня обняла Агриппина Титовна и поцеловала.

— До свидания,—говорит,—на том свете! А пока что побегу на базар, продам шесть авосек, а то теперь они уже не нужны. Придется же чего-нибудь Харону сунуть, чтобы через речку Стикс не перевозил, а прямо к Петру бы направил. Да и Петру, чтобы в рай как-нибудь пропихнул, тоже не обойдется без того, чтобы не сунуть. Будьте!

И побежала.

Выскочил и я из дому.

С криком «Оторвалось и летит!» бегу через двор.

Встречаю управдома.

— Летит!—кричу.

— Пускай,—говорит управдом,—летит! Ведь через три года долетит, а за три года еще и выселим кого не нужно, еще и переселим кого не нужно.

— Да,—кричу,—может же быстрее долететь, чем грозит-ся! Оно такое!

— А кто,—говорит управдом,—ему поверит, что оно долетит без моей справки? Пускай попробует!

Вижу, что управдома не убедишь,—побежал дальше.

— Летит!—кричу.—Солнце летит! Целый кусок!

А какой-то старичок стоит и скептически бросает:

— На зябь, должно быть, не вспахали, а авансом за трудодни получили, вырвались и летят!

— Пр-рилетят и не пропишутся!

— Такое скажете — «не пропишутся»?! С вызовом — это действительно не пропишутся, а без вызова сколько угодно! Прилетят, скажут, что прорвали фронт между Марсом и Венерой, что на Млечном Пути ансамблем песни и пляски вражескую группировку уничтожили и по ту сторону Сатурна демобилизовались!

— Не поверят!—говорю.

— Поверят. Поверят, потому что документов тьма: сорок аккордеонов, полтора ста ручных часов и еще какие-то там подарки из Одессы.

— Где Одесса, а где Млечный Путь?

— Как раз по дороге! Около Марса свернуть налево — и прямая дорога на Одессу. Никуда не сворачивая, прямо в лондонскую гостиницу.

— Да слушайте,— кричу,— катастрофа! Космическая катастрофа! Что вы себе думаете?

А один завбазой мне и говорит:

— А что мне думать, если оно аж три года будет лететь? Пускай летит!

Вижу, что никого, кроме Агриппины Титовны, это не беспокоит—я тогда на базар.

Прибежал.

— Летит,— кричу,— кусок солнца! Испепелит,— кричу,— всех вас тут!

Какая-то тетя с очень кровавыми губами на лице и с очень заграничными трусами в руках на меня посмотрела так, что я поймал себя на мысли, что у меня сын двадцати трех лет... И говорит та тетя:

— Начмилиции все свистки уже высвистел, а нас отсюда никогда не выкурят!

Я поглядел на ту тетю и подумал: «Где же тот кусок от солнца?.. И почему он три года будет лететь?.. И почему только кусок, почему не все солнце падает, чтобы действительно таких испепелить?.. И чтоб не через три года, а чтоб сегодня?»

С этими мыслями побежал я к профессору Всехсвятскому, директору Киевской обсерватории.

— Профессор! Что такое? Что за катастрофа?

Профессор Всехсвятский навел телескоп и пригласил меня взглянуть собственными глазами. Припал я, смотрю, как ученый. И ничего не вижу. Одни тени и пятна. Все мелькает. Я моргаю. А солнца нет. Тогда я как закричу:

— Солнце куда дели?

— А вы не туда настроились,— ответил спокойно профессор.

Я еще раз глядь, но уже не в трубу, а за телескоп, потом в выпуклое стекло впился и вижу, как на ладони, базар...

Профессор засмеялся.

Лишь тогда я уразумел, что такое астрономы и гастрономы (базарные). Это они и спланировали космическую катастрофу. Я теперь убежденно утверждаю:

— Упадет непременно, упадет кусок солнца и угодит со всего размаху прямехонько на базар. Ей-ей, правду говорю...



*„Расти, расти ты,
Клен-дерево!“*

Зеленые насаждения, водоемы, пруды... Степи и леса... Буйно-зеленая пшеница разлилась бескрайним озером. Вместо обрывов, оврагов, балок задумчивые вербы над водой. Развесистые, кудрявые ветви висят над водоемом, где дородная карасиха прихоращивается перед зеркальным карпом...

Словно сон, словно сказка... Но это и не сон и не сказка,—действительность нашей эпохи!

* * *

И весь народ верит, что природа отступит перед разумом человеческим, перед энергией человека-творца. Все злые силы отступят перед ним.

Но отступит ли когда-нибудь дьявольская коза перед разумом и энергией заведующего районным (а может быть, и областным) коммунхозом в городе Лысогорске?

Умысленно не уточняем город, чтобы каждый завкоммунхозом с гордостью мог сказать:

— Это не у меня! У Кузьмы Петровича, по всей вероятности, так и было. Только не у меня. Нет, нет, не у меня!

Так вот: в городе Лысогорске чуть ли не каждый год закладывается городской парк.

То ли в газете о том напишут, то ли кто-нибудь из приятелей похвастается в письме:

«А у нас парк заложили. Там, за рекой. Чудесное, знаете, местечко выбрали. Высоко над рекой. И вид такой, что дух захватывает, когда посмотришь. А как прекрасно все распланировано: аллеи, площадки!.. Это — за городом. И от парка до самого центра города тянется прекрасная аллея. Ей-богу, она не хуже киевского бульвара Шевченко! А ведь вы, наверное,

помните, что там было — на месте нового парка? Свалка была! Приедете, так не узнаете нынешний Лысогорск...»

И такое письмо приводит вас в восторг. Вы радуетесь, думаете: каким же чудесным стал нынче Лысогорск!

Проходит год, и вы опять получаете письмо из того же города, от того же приятеля:

«А у нас парк заложили! Знаете, там — за рекой. Чудесное место выбрали. Высоко...» и т. д. и т. п.

Прочтя письмо, вы размышляете:

«Опять парк? А ведь и в прошлом году приятель писал о зеленых насаждениях. Вот как дело-то развивается!»

Отыскав прошлогоднее письмо приятеля, вы сравниваете тексты, вызвавшие радость в вашем сердце. И уже вслух думаете:

— Вот это здорово! В прошлом году парк заложили. И в этом году... Выходит, что нынче в Лысогорске два парка заложено? Вот это да!

И вы отвечаете своему приятелю:

«Дорогой Кондратий Маркович! Неужто и в самом деле вы два парка выращиваете? Уточните же, пожалуйста, где именно второй парк заложен?»

Вам отвечают:

«Да не два парка у нас заложено, дорогой друг, а всего лишь один! Прошлогодний козы сожрали. И после войны мы это уже третий парк закладываем. Как назло, чертовы козы пожирают все наши зеленые насаждения. Что ты с ними поделаешь? Ученые специалисты предполагают, что козы и этот парк, который мы в нынешнем году заложили, тоже сожрут!»

И завязывается у вас с приятелем оживленная переписка.

«Почему же вы не охраняете зеленые насаждения? — пишете вы ему. — И куда же смотрит завкоммунхозом?»

Вам в ответ:

«Куда завкоммунхозом смотрит? В окно! Ведь у него самого есть коза. Ух, какая молочная! Метис. Смесь ангорской с брабансоновской! «Я, — говорит завкоммунхозом, — план озеленения города выполнил, все кредиты использовал! А если парк не растет, так это уже не на моей ответственности! Что, я буду каждое дерево за уши тянуть, чтоб росло? И что касается коз, то я ведь не пастух. Что вы ко мне придираетесь?» Вот и закладываем наш парк ежегодно! Подле школы учителя с учениками садик вырастили своими силами, —

так там вишни и яблони уже первый урожай дали! Там дети деревья берегут. А мы ведь не дети; слава богу, мы уже взрослые! Использовали кредиты и отчитались. Конец — делу венец...»

Ах, эти чертовы козы, как они любят зеленые насаждения! Как довольны, когда и планы выполняются и кредиты используются!

* * *

Отличный весенний день... Солнце... Вот-вот распустятся каштаны! Почки, набухая, просто стонут: «Пустите на белый свет! Мы распускаемся!» И настал день: лопнули они! Зазеленели каштаны. И цветут, наслаждаясь свежим весенним воздухом!

На улицах детворы, как маку в хорошем огороде.

Вот идет мама со своим дитятком. Дитятке лет шесть, но это он, а не она, — мальчишка! Маме, конечно, больше, — она, так сказать, взрослая.

Подходит дитятко к только что посаженному кустику и выламывает из него прутик.

— Гражданка! Зачем вы позволяете ребенку зеленые насаждения портить?

— Надо же малышу чем-нибудь забавляться! Подумаешь... Ведь всего один прутик!

— Ваш — один, другой — еще один. Глядишь, и нет куста!

— Да что вы ко мне пристали?!

И разгневанная мама уже ругает дядю за то, что он сделал ей замечание.

Дядя идет к себе и думает:

«Принесет дитятко прутик домой. И хорошо было бы, если бы папа спросил маму: «Откуда этот прут?» — «Да это, знаешь, наше дитятко на бульваре выломало». И еще лучше было бы, если бы папа взял тот прутик и... Впрочем, пусть он не жасминовым, а хотя бы «моральным» прутиком проучит маму, чтобы не потакала таким «дитяткам»...

Ведь надо же беречь зеленые насаждения!

Чтобы зеленели улицы в наших городах, поселках, селах! Чтобы всюду цветами пестрел веселый май!



Вот так и пишу

К

I

ак вы пишете?

С таким вопросом частенько обращаются слушатели ко всем писателям чуть ли не на всех литературных вечерах, где писатели выступают с публичным чтением своих произведений.

Обращаются с такими вопросами и ко мне.

Как я пишу?

Прежде, в молодости, от таких вопросов я отделялся шуткой:

— А так пишу: беру бумагу, беру карандаш, сажусь и пишу...

Такой ответ, видимо, не совсем удовлетворяет, или, вернее, совсем не удовлетворяет читателей, потому что вопросы не прекращаются, а наоборот, чем дальше, тем таких вопросов становится все больше, заинтересованные товарищи, должно быть, хотят, чтобы я о своей работе рассказал как можно обстоятельнее.

Давайте попробуем.

Только заранее давайте условимся, что в этой моей исповеди, или беседе, не будет решительно никаких рецептов насчет того, как писать фельетоны, юморески или вообще

художественные произведения, так как я придерживаюсь того мнения, что вряд ли можно кого-либо научить писать те или иные художественные произведения, а вот ему самому научиться писать такие произведения можно.

Я расскажу вам, когда и как я стал писать юморески и фельетоны, и, если удастся, расскажу и о том, как я их пишу.

II

Работать в газете я начал довольно поздно, когда мне уже стукнуло тридцать с гаком.

Почему?

Я происхожу из крестьян. Родился на Полтавщине. У родителей моих было очень много детей и очень мало денег. Дать мне систематическое образование они не могли. Закончил я сельскую школу. А дальше что? О гимназии или вообще о каком-либо среднем образовании не приходилось и думать. Что делать? Хозяйствовать дома не на чем и не над чем. А родители, однако, старались во что бы то ни стало вывести детей «в люди». Где-то отец узнал, что он, как бывший солдат, имеет право отдать сына на «казенный кошт» в военно-фельдшерскую школу, а таких школ на Украине тогда была только одна — в Киеве.

Почему моих родителей привлекала именно военно-фельдшерская школа, а не земская фельдшерская школа, которая была ближе, в Полтаве?

В Полтаве нужно было снимать для ученика комнату и т. д., а в Киеве все это было «казенное», хотя за учение потом полагалось отслужить фельдшером в армии.

Окончил я военно-фельдшерскую школу. Стал работать фельдшером, а дальше учился уже самостоятельно, чтобы сдать экстерном экзамены за гимназию «на аттестат зрелости»...

На это мне пришлось затратить чуть ли не десять лет. Выходит, что среднее образование я получил, когда мне уже подкатывало под тридцать.

Выступая перед нашей советской молодежью, я всегда говорю: как, мол, вам теперь «очень трудно» — у вас теперь и семилетки, и десятилетки, и техникумы, и университеты, и заочные высшие учебные заведения, и академии... Не знаешь, за что взяться...

Теперь стукнуло тебе тридцать три — ты уже или инженер, или доктор, или педагог, или биолог, или геолог, или, или, или и еще раз или...

А нам было «значительно легче»: проучился две, три, а самое большее — четыре зимы, хватайся за кнут и «цабе, рябе, тррр!». И то не на своих волах, а на кулацких или помещичьих.

Книжки читать я любил сызмала, все думал и гадал, что это за люди такие есть на свете, которые умеют стихи складывать или книжки писать. Однако о том, чтобы самому что-нибудь такое сочинить, даже и не мечталось.

Работать фельдшером мне посчастливилось вместе с одним весьма образованным врачом, влюбленным в литературу. Он сам писал, великолепно знал украинский язык, был знаком с Лесей Украинкой.

Ну вот, по службе иногда напишешь какой-нибудь там или акт, или что-нибудь в этом роде, дашь ему на подпись, читает...

Как-то он меня спросил:

— А вы никогда не пробовали писать в газету?

— Нет, никогда.

— А вы попробуйте.

Я попробовал. Написал небольшую заметку (не помню уже о чем!), понес в редакцию, где мое сочинение и выбросили в корзину.

Оставил я мысль о своей работе в газете.

По-украински я говорил с детства. Учился в русской школе, потому что, как вы знаете, при царе украинских школ на Украине вовсе не было.

Да как мы, дети крестьян, могли говорить и писать, проучившись всего две-три зимы в сельской школе, а затем пройдя солдатскую царскую муштру?

Про нашу речь кто-то однажды очень остроумно сказал:

— Не по-русски, не по-малорусски, а так — мало по-русски!

Врач, с которым я работал, раскрыл передо мною красоту украинского языка и очень помог мне в его изучении.

Книжки, разумеется, я читал и русские и украинские. И много читал.

В 1919 году были попытки моих выступлений в газетах, но постоянная газетная работа началась в 1921 году в Харькове, в редакции газеты «Вісті ВУЦВК».

III

Украинский язык, даже литературный, по тому времени знал я прилично.

Пришел я в Харькове в редакцию газеты «Вісті ВУЦВК» да и говорю:

- Нет ли у вас какой-нибудь работы?
- А что вы умеете?
- Знаю украинский язык.
- О! Нам такие люди нужны.

Надо вам знать, что тогда знатоков украинского языка было очень мало. Некоторые из тех, что знали язык, перепетлюрились, молодежь еще не подросла.

Наилучшим знатоком украинского языка в редакции газеты «Вісті», кроме редактора, считалась Оксана Х., зав. информотделом (была такая должность).

К ней меня и направили.

«Экзамен» я сдал блестяще и в тот же день вечером уже работал переводчиком.

Началась моя газетная работа.

Было это, скажу я вам, в 1921 году! В апреле!

А теперь уже 1954 год!..

Моя газетная работа как началась, так до сих пор и не прекращается.

И, если вам по секрету сказать, до сих пор я считаю себя «в общем и целом» газетчиком.

Работаю, значит, я себе в редакции да и работаю. Перевожу себе да и перевожу.

Нельзя сказать, чтоб по натуре я с детства был очень угрюмый. Совсем наоборот, по молодости смеялся весело и раскатисто.

Однажды, переводя заграничные телеграммы, я натолкнулся на какой-то курьезный факт из иностранной жизни. Забыл уже, какой именно. Телеграмму я перевел, а потом подумал: почему бы мне не посмеяться над этим фактом? Взял я да написал нечто вроде фельетона, или шутки, или юморески.

Кстати, и тогда и теперь не очень мне по душе французское слово «фельетон». Употребляю я это слово только потому, что так заведено в газетах и журналах, а сам я для своих произведений придумал название — «усмешка» и это слово люблю куда больше, чем слово «фельетон».

Хотя фельетон уже завоевал у нас полное право на жизнь, но, по-моему, слово «усмешка» роднее, ближе, чем фельетон.

...Так, написал, значит, я усмешку, приложил ее к переводу телеграммы и оставил на столе Оксаны Х. Сижу и посматриваю на Оксану. А работали мы все, и начальство (зав. отделом) и подчиненные, в одной комнате. Прочла Оксана перевод, читает мою шутку. Начинает хохотать. Вскочила и, хохоча,

куда-то побежала. Прибегает и показывает мне резолюцию редактора. «Напечатать в завтрашнем номере газеты». «Раз-рази меня нечистая сила!» — думаю себе. А сам, разумеется, рад! Еще бы!

— А как подпишем фельетон? — спрашивает Оксана.

Я беру у нее свое «произведение» и подписываю: «Оксана».

Таким образом, первый мой фельетон (если можно его так назвать), напечатанный в «Вістях», появился за подписью «Оксана».

Почему?

Из этого видно, что серьезного значения данному факту я не придавал и быть фельетонистом или вообще писателем не думал.

Работа в газете мне понравилась, бросать ее я не собирался, но полагал: разве мало в газете работников — и не писателей и не фельетонистов, а прекрасных журналистов, без которых газета не может существовать.

«Поработаю, — думал я, — а там видно будет, куда кривая вывезет».

Работал я, нужно вам сказать, с большой охотой, работал с увлечением.

С раннего утра приходил в редакцию, высказывал на часок пообедать и возвращался домой на рассвете следующего дня.

Жизнь проходила в редакции.

Был я и переводчиком, и литературным редактором, и зав. отделом, и секретарем редакции, и редактором журнала «Червоний перець», и редактором литературных приложений.

Не одновременно, разумеется...

А вот в «Вістях» я был одновременно и литературным редактором, и фельетонистом, а в «Селянской правде» — ответственным секретарем.

Поработалось — нечего греха таить!

Вместе с «Вістями» выходила газета «Селянская правда», которая первое время хромала, потому что часто менялись в ней редакторы.

В «Селянской правде» я работал секретарем.

Бывало, сидишь в комнате, заходит товарищ.

— Здравствуйте! Я — ваш редактор!

— Очень приятно!

Глядишь, через месяц-полтора это самое «очень приятно» говоришь уже другому товарищу.

Редакторами «Селянской правды» долгое время были товарищи, которые, приехав в Харьков, ждали назначения на работу.

— Поработайте в «Селянской правде», пока подберем вам соответствующую работу.

Чаще всего редактирование «Селянской правды» велось по совместительству.

Газета выходила трижды в неделю.

Вот и было, как правило:

— Вы тут действуйте, а я забегу, просмотру!

— А передовая?

— И передовую напишите!

— А о чем?

— Пишите о кооперации.

— Да в прошлый раз уже писали о кооперации!

— Ничего, ничего! Не повредит! Пишите о кооперации.

Редактор обязательно, бывало, забежит просмотреть передовую.

— Здорово написано, очень здорово! Только конца нет!

— Как нет?

— В конце припишите: «А потому сдавайте хлеб и лошадей для Красной Армии».

О чем бы ни писалась передовая—о международном положении, о культурно-просветительной работе в деревне,—все равно конец обязательно приписывался такой: «А потому сдавайте хлеб и лошадей для Красной Армии!»

— Да как-то оно тут вроде...

— Ничего! Ничего! Какая-нибудь добрая душа прочтает да, гляди, еще раз вывезет хлеб на продпункт! Печатное слово, оно свое дело делает!

Был и такой редактор.

— Товарищ редактор, когда будет передовая?

— А газета разве выходит?—спрашивает редактор.

— Не выходит, потому что нет передовой.

— А раз не выходит, так на что же передовая?

Всего было за двенадцать лет непрерывной технической работы в аппарате редакции!

Зато как приятно вспомнить эти годы!

Стенных газет тогда в наших редакциях не было.

Вот я взял да и написал шутку «для внутреннего применения» о делах редакционных. О всяких там курьезных, более или менее типичных явлениях в нашей работе, о странных выходках разных редакционных работников—чудаков (а где их, скажите, нет!).

Смеху было, хоть лопатами выгребай!

Но это меня и сгубило!

Редакторы стали говорить:

— Вы умеете, да не хотите!

— Вот на такую тему требуется фельетон! Понимаете, нужно!

— Да не выйдет у меня!

— А вы попробуйте! Про редакционные дела ведь вышло! Напишите!

Начал писать.

Иногда выходило, иногда не выходило...

Постепенно стало чаще «выходить», чем «не выходить».

Начал чаще обращаться к Гоголю, к Щедрину и к Чехову.

Читая, думал: «Почему смешно? Откуда смех?»

Доставал словари, сборники поговорок... и т. д. и т. п.

И прислушивался. Прислушивался и в трамваях, и на базарах, и на ярмарках, и в поездах — почему смеются, отчего так весело?.. И записывал!

Зачем я обо всем этом пишу?

Мы же с вами беседуем о том, как я начинал свою работу в украинской сатирико-юмористической литературе. Я не могу вам сказать, все ли так начинают, и вообще — так ли следует начинать.

Я не сомневаюсь в том, что теперь, когда у нас есть литературные институты, институты и факультеты журналистики, нашей молодежи значительно легче будет начинать, нежели когда-то нам. То, до чего нам приходилось доходить ощупью, не имея под собой ни малейшей теоретической базы, для наших молодых товарищей будет доступно в высших учебных заведениях.

Будет основа, на которой уже можно вышивать узоры.

А мы — сами ткали, сами и вышивали.

IV

— Разговоры разговорами, а как же все-таки пишутся фельетоны? Как?

А давайте я спрошу вас:

— Почему один писатель пишет романы, другой — стихи, третий — драмы, комедии и т. д. и т. п.

Есть, разумеется, авторы, которые могут писать и то, и другое, и третье, а все-таки один из жанров у них получается лучше, чем другой.

Пишет, к примеру, чудесные лирические песни наш поэт-сатирик Сергей Воскресенко, однако в своих сатирических стихах он и сильнее и плодотворнее.

Таких примеров можно привести несметное число.

Я не скажу, что человек рождается с какими-то там сатирическими или юмористическими «винтиками» в голове, но у каждого человека всегда имеется к чему-нибудь определенному большее стремление, большее призвание.

А если у человека есть стремление или призвание, например, к сатире и юмору, он ими — сатирою и юмором — больше и интересуется, больше изучает классиков сатиры и юмора, народную сатиру и юмор, следит за новыми явлениями в сатирической и юмористической литературе, тем самым удовлетворяет свое к ним влечение, а вместе с тем вырабатывает, обогащает, развивает собственные зерна сатиры и юмора. В конце концов сатира и юмор становятся делом его жизни, его профессией, если речь идет о литературе. Разумеется, все это развивается не само собой, а в едином процессе развития нашей литературы и нашей культуры вообще.

М. Е. Салтыков-Щедрин, как известно, писал:

«Литература же ведаёт такие человеческие действия, которые заключают в себе известную степень загадочности и относительно которых публика находится ещё в недоумении, порочны они или добродетельны. Философы пишут, с целью разъяснения подобных действий, целые трактаты; романисты кладут их в основание многотомных произведений; сатирики делают то же дело, призывая на помощь оружие смеха. Это оружие очень сильное, ибо ничто так не обескураживает порока, как сознание, что он угадан и что по поводу его уже раздался смех»¹.

— Ну, правильно, — скажете вы. — И стремление и призвание к сатире и юмору у нас есть, и познакомились мы с народною сатирой и юмором, читали классиков, следили за новыми явлениями сатирической и юмористической литературы и даже, намереваясь работать в данной области, призывали для этого на помощь оружие смеха! Все сделали! А все же таки — как писать фельетоны? Как писать юморески?

Я могу вам рассказать, насколько мне это известно, как пишут или писали другие авторы, с трудом могу показать на отдельных работах-примерах, как я их сам писал, но вообще как писать — не знаю и посоветовать ничего не могу!

Вы думаете, что я сам не интересовался, не допытывался когда-то, как писать? Допытывался! Но, к сожалению, никто ничего мне путного не сказал.

¹ Н Щедрин (М. Салтыков) О литературе. М., Гослитиздат, 1952, с. 591.

— Как вы пишете?— спрашивал я.

— А так: пишу, да и все!

Один из известных писателей-сатириков (был до революции в Петербурге журнал «Сатирикон») писал, говорят, так: садился за стол, перед ним четыре полосы бумаги, на каждой лежит авторучка, он на одну тему пишет четыре варианта юмористического произведения и каждый вариант особою ручкой. Несет эти четыре варианта в редакцию и читает редактору. Редактор, говорят, очень часто спрашивает писателя:

— А пятого варианта у вас нет?

Я не думаю, чтоб произведение очень зависело от авторучки и от бумаги.

Однажды меня посетил народный художник СССР Анатолий Галактионович Петрицкий. Сидели мы, беседовали, курили. Анатолий Галактионович оторвал крышку от папиросной коробки, взял полубожженную спичку, обмакнул спичку в чернила, сидит и царапает так себе, между прочим, спичкой по картону. А вышел чудесный портрет.

Итак, кроме материала, требуется, очевидно, что-то еще для художественного произведения.

Как-то летом мы жили вместе с одним нашим талантливым поэтом в живописном селе на Полтавщине, над рекой Сулой. Поэт работал над переводами стихов Пушкина. А я любовался нашим поэтом. Как поэт работал? Он сразу, что называется «с маху», без единой помарочки, «переписывал» с русского языка на украинский целые страницы. Один вариант. Потом таким же способом — сразу другой вариант. После этого читается первый вариант, читается второй, из двух составляется один. Перевод готов. И какой перевод! Возможно, что поэт потом шлифовал переводы, но этого я уже не видел, я рассказываю о том, чему был свидетелем сам.

Все мы видели рукописи великого Льва Толстого, читали о том, как он работал! Сколько он правил, сколько им самим и сколько для него каждое произведение переписывалось... А потом еще правка в корректуре, корректура корректуры, корректура в гранках.

Разве от этого произведения Л. Н. Толстого стали менее художественными? Напротив! И разве такая кропотливая работа над произведениями принижает величие Толстого?

Как-то я спросил сына нашего известного украинского новеллиста:

— Если не секрет, расскажите, прошу вас, как работал ваш отец?

— А почему,— отвечает сын,— это секрет? Никакой это не секрет! Каждое утро из отцовского кабинета выгребали кипы изорванной бумаги.

И все же удивлялись современники писателя, удивляемся и мы, весь мир удивляется, как можно одним словом передать психологическое состояние человека, двумя-тремя словами нарисовать яркую картину, а на одной-двух страничках изобразить социальное положение замученного народа.

Каждый работает, в данном случае пишет, как умеет!

V

Самое трудное и самое неприятное— это писать о себе. Я еще раз скажу, что не имею никакого намерения давать какие-либо определенные рецепты насчет того, как писать, да их, этих рецептов, и нет. Я попробую рассказать для примера, почему и как я написал свою «Зенитку», так как из всех моих произведений ее, вероятно, больше всего знают.

«Зенитку» я написал во время Великой Отечественной войны.

Мне хотелось в те тяжелые, грозные годы написать что-нибудь очень веселое, такое, чтоб и моя работа содействовала тому, чтоб люди и на фронте и в тылу по-настоящему смеялись, да не смеялись, а просто-таки хохотали.

Одновременно чтоб моя юмореска сыграла и определенную, так сказать, мобилизующую, подбадривающую роль.

Героями «Зенитки» я избрал двух стариков: деда Свирида и его кума.

Почему я взял стариков?

Чтоб показать, что с врагом воевал тогда весь наш народ, взявший в руки и винтовку и вилы. Я сделал старого деда партизаном (а разве таких не было!), а в партизанах даже дряхлые старики не сидели без дела, они или обед хлопцам варили, или лошадей пасли.

Почему я привел в качестве примера войну деда Свирида с его женою Лукерьей? Это— смешно; впрочем, у меня была еще и та мысль: не задавайтесь, мол, фашисты, своей техникой, своею военной наукой,— хоть вы и очень вымуштрованные, очень сильные, в военном деле очень напрактикованные, наши деды бьют вас, имея в руках не настоящие зенитки, а что ни на есть обычные вилы-тройчатки.

Дедов, что упали с кислицы, я прозвал летчиками.

Такие контрасты: зенитка и вилы, настоящая военная муштра, с одной стороны, и бабка Лукерья— с другой, таран и юбка и т. д. Да еще когда старые деды по-своему применяют

в разговорах военные термины (а разве не поприставали такие термины к нашему языку в годы войны?) — вот и вышло, говорят, очень смешно.

«Зенитку» свою я выдумал. Живого деда Свирида, того, что действует в «Зенитке», на свете не было. Но я уверен, что подобные деды были, так как, если бы их не было, я погрешил бы против художественной правды, и читатель обязательно где-нибудь, когда-нибудь, не теперь, так потом запротестовал бы... Читателя не обманешь! За десять лет жизни «Зенитки» я ни одного протеста не слышал. Я рассказал о том, почему я написал «Зенитку».

Как я ее написал?

Это уже дело более сложное. С «Зениткой» я мучился довольно долго. Было много сомнений, немало опасений. А не обидятся ли наши солдаты, наши офицеры, что я их титаническую, героическую, смертельную борьбу сравниваю с войной деда Свирида и бабки Лукерьи? Хотя я имел в виду фашистскую армию, а вдруг кому-нибудь придет мысль, что я — даже подумать страшно! — недооцениваю трудностей борьбы?

Не обидятся ли наши бесстрашные летчики-соколы за то, что смертельнейшее в их руках оружие — таран — я низвожу до тарана дедом женской юбки? Когда я еще только готовился писать, я советовался с некоторыми товарищами и с первыми моими читателями, не может ли такое случиться?

А кто наверняка мог сказать, случится или не случится?

Решил писать!

А сам подумал — все дело в тоне, в подходе, в определенных границах.

Взял да и написал.

Как я ее написал технически, спрашиваете?

Я ее не написал, а рассказал. Было это в Рязанской области, где моя семья жила в эвакуации. Я приехал к ней. В хате было очень холодно, стоял февраль. Ночью я не спал, а больше согревался, дыша в руки. Дышал я, дышал, никакого тепла не надыхал. Дыхнешь, а пар клубами улетучивается. Разбудил жену.

— Ты не замерзла?

— Замерзла!

— Слушай, я тебе что-то расскажу.

— Ночью? Может быть, это тебе с холоду?

— Слушай, может, теплее будет. И начал: «Сидит дед Свирид на бревнах, сидит и стругает лозинку...» И так до конца.

Жена начала смеяться. Потеплело.

А утром встал, погрел над чайником пальцы, попросил у хозяйской дочки-школьницы четыре листика бумаги «в клеточку» из ученической тетради, взял карандаш, так как чернила замерзли, сел да и написал «Зенитку».

Так родилась «Зенитка».

«Зенитка» — это юмореска, написанная не на фактическом материале, это, так сказать, чистейшая авторская выдумка, домысел.

Давайте попробуем поговорить о юмореске, явившейся вследствие определенного жизненного явления, факта. Есть у меня шутка (пускай будет фельетон), которая называется «В ночь под Новый год». Материалом для этой шутки послужил тот жизненный факт, что во многих наших колхозах председатели колхозов, чтоб попристроить на легонькую работу своих родственников, кумовьев, сватьев и т. д., назначают их сторожами.

В штате одного колхоза было обнаружено восемнадцать сторожей. Явление, разумеется, ненормальное, граничащее с преступлением. Нужно было высмеять это явление, обратить на него общественное внимание, вынести его на всенародное осмеяние и, таким образом, пресечь.

Как я подошел к этому материалу, к этому факту?

Я представил себе: ежели в колхозе восемнадцать сторожей и все они родственники или приятели, ясно, что не все они деда, что это здоровые, трудоспособные люди, которые скрываются от работы и еще получают за это немалые трудовни.

Это была, так сказать, исходная точка, та печка, от которой я начал «танцевать»...

Что может делать здоровый, крепкий молодой человек ночью, если он сторож, а этому сторожу только и дела, что колотить в колотушку?

Вот я и начал им находить работу, конечно на бумаге: они у меня и в подкидного играют, и борются, и на ферме симментальского бугая поднимают. Дошло дело до того, что комсомолка Оленка на правлении начала просить, чтоб сторожам футбольный мяч купили,—пускай, мол, не гуляют, а лучше тренируются да «кубок СССР» для колхоза выиграют.

А окончательно я скомпрометировал сторожей тем, что одного из них в ночь под Новый год кто-то украл.

Люди читали, смеялись, а кое-кто, наверно, и почесывался.

А если бы я взял и написал: «В таком-то колхозе восемнадцать сторожей. Разогнать их!»

Это была бы не литература. Задача литературы — своими средствами обратить внимание на определенное явление, выявить его, а для «принятия мер» у нас есть другие соответствующие учреждения.

Как-то, будучи в одном районе, я заметил, что большинство сельских клубов закрыто. На дверях клубов висят огромные, тяжелые замки.

Я не допытывался, почему закрыли эти клубы, — для меня было ясно, что культурно-просветительной работе в том районе уделяют очень мало внимания.

Написал я фельетон «Культура на земле».

Района я не назвал, не назвал и определенного клуба, однако вышло, что я попал в точку; немало было писем-откликов на этот фельетон, в которых писалось: «Вот, мол, хорошо, что написали про замки на клубах: у нас уже нет замка, клуб работает» и т. д. и т. п.

Почему к жизненным явлениям я подхожу именно со «смешной» стороны?

Потому, что я стремлюсь быть сатириком, а сатирики действуют, как говорил М. Е. Салтыков, «призывая на помощь оружие смеха».

Если бы я был романистом и какой-нибудь факт меня заинтересовал, я положил бы его, может быть, в основу многотомного романа.

Поэт написал бы, может быть, балладу, может, поэму, а может — песню.

А мое оружие — смех! Я издеваюсь, высмеиваю, а частенько просто усмехаюсь.

Н. В. Гоголь сказал: «Насмешки боится даже тот, кто уже ничего не боится на свете».

VI

Где берется материал для сатирико-юмористических произведений?

Советские писатели, сатирики и юмористы, большей частью группируются вокруг сатирических и юмористических журналов — «Крокодил», «Перец» и других, что издаются в наших братских советских республиках. Работают они в редакциях газет и в различных журналах. А редакционная почта дает такого материала сколько угодно.

Но, разумеется, самое лучшее — это видеть жизнь собственными глазами: изучать ее, быть среди народа — вот это

самое полезное; чаще ездить в колхозы, совхозы, на фабрики, заводы, шахты и т. д. и т. п. Сатирикам и юмористам это необходимо еще более, чем кому-либо другому.

Оружие писателя — язык, слово. Веселую юмореску, фельетон, острую сатиру нельзя написать спокойным, холодным, пусть даже и самым литературным языком.

У сатирика и юмориста язык должен быть живым, острым, метким, близким к тому языку, каким говорит народ.

Вот и приходится прислушиваться, записывать, знакомиться с фольклорными материалами. Для нас это и необходимо и обязательно, без этого веселого произведения не напишешь.

Мне довелось повоевать оружием смеха с врагами советского народа, с господскими холоуями, продажными украинско-немецкими националистами.

Весь этот сброд после войны гнезвился во всяких норах в западных областях Советской Украины. Все это выкормыши разных гестапо и других змеиных гнезд со своею разбойничьей спецификой, жаргоном, бытом, привычками...

Разумеется, сидя в Киеве, не изучивши необходимого материала на месте, мне трудно было бы написать о них что-нибудь едкое. Значит, нужно было ездить в западные области, знакомиться с условиями их предательской работы, говорить с местными жителями, которые лучше знали подлую работу этих продажных тварей, приходилось говорить и с самими «героями» темной ночи и черной чащи.

Только в результате всего этого и могла получиться моя книжка «Самостійна дірка»...

Не было бы моих «Ленинграда и ленинградцев», если бы не побывал я в Ленинграде; следствием поездки в Запорожье явились мои «Запорожцы»; все мои «Охотничьи усмешки» — результат многолетних странствований с ружьем.

Надо вам сказать, что в охотничьих усмешках ничего выдуманного нет; все это личные наблюдения, все это было увидено, услышано, пережито.

Разумеется, все обработано под моим углом зрения.

В кабинете наш брат многого не высидит.

VII

Мы, к большому сожалению, еще весьма бедны теоретическими работами в области сатирико-юмористической литературы. Но появится же когда-нибудь и теория.

Что же еще вам сказать?

Помните самое главное: «Не боги горшки обжигают!»

Захотите научиться писать фельетоны — научитесь, ибо, еще раз подчеркиваю, научиться можно!

А нам, уже немало лет потрудившимся на ниве сатирико-юмористической литературы, в ожидании молодой, горячей, остроумной, веселой смены, остается только одно:

Учиться, учиться и еще раз учиться.

Ждем в наши ряды: будем учиться вместе!

1954



Вся жизнь с Гоголем

К

I

Когда я впервые услышал о Гоголе? Ой, давно, очень давно!

Я еще и в школу не ходил, как откуда-то узнал, что в местечке Сорочинцы родился писатель Николай Васильевич Гоголь, тот, что сочинял книжки и написал «Сорочинскую ярмарку».

Почему меня больше всего поразило то, что Гоголь написал «Сорочинскую ярмарку»?

Не «Ревизора», не «Тараса Бульбу», а именно «Сорочинскую ярмарку»?

Ярмарка в нашем местечке была для нас, детей, событием чрезвычайным, потому что отец давал нам на ярмарку каждому по целому пятаку! И, боже мой, чего только нельзя было купить на тот пятак на ярмарке: и сбитня у лотка можно было выпить, и «брусиков» достать, и барбарисовых конфет (пять штук — копейка!), и конфетину-гиганта, длинную, круглую, в золотой бумаге с золотыми кисточками на концах. А пряничные лошадки, а рожки с золотом, два на копейку! А цыгане и их кони! А карусель!.. Ах, ярмарка — мечта моего детства!

И вот в Сорочинцах, оказывается, родился писатель, который написал про ярмарку! Значит, и про сбитедь, и про

коней, и про цыган, и про «брусики», и про конфеты, и про карусель?!

Наверное, это — хороший писатель!

Вот бы почитать!.. Скорей бы подрасти — да в школу!

Родители мои жили на маленьком хуторе неподалеку от волостного «центра» — довольно крупного местечка в Зиньковском уезде на Полтавщине.

До Сорочинцев от нас — сорок пять километров, до Полтавы — семьдесят пять, до Диканьки — шестьдесят.

Отец — мы, дети, это знали — ездил и в Сорочинцы и в Полтаву.

В Сорочинцах жили какие-то наши родственники, в Полтаву отца посылала по разным делам барыня, а про то, что на свете есть еще и Диканька, мы узнали из этикетки на пивной бутылке. Вдвоем со старшим братом с большим трудом мы прочитали по складам то, что было напечатано на этикетке.

«Пиво Диканьского завода князя Кочубея, м. Диканька».

И сразу — к матери:

— Мама, что такое «князь»?

— Мало мне с вами забот, так я еще всякими «князьями» должна себе голову морочить!.. Идите, деточки, поглядите, как там наши гуси, нет ли какой шкоды!.. Да носы-то утрите, князя вы мои сопливые!..

Было мне тогда лет пять, а может быть, шесть, но я отчетливо помню летний день и тревогу, поднявшуюся с утра в нашей хате. Отец потихоньку что-то говорил матери, а мать охала, ахала, хватала веник и, подметая в хате пол, все спрашивала отца:

— Ну, а что же они едят? Чем их угощать-то?

А отец спокойно отвечал:

— Что едят? Да то же, что и мы!

Только под вечер выяснилась причина тревоги, поднявшейся в нашей хате.

За ужином, когда вся семья была в сборе, отец сказал нам, детям (а нас, ребят, сидело за столом немало — ужинали не из одной миски, а из целых трех):

— Вот что, детки! Приезжают к нам в гости ваши сорочинские дядя и тетя. Едут они на богомолье в Ахтырский монастырь, а по дороге заедут к нам в гости. Захотелось взглянуть им, как мы живем! Хоть они не очень-то близкие нам родственники, какие-то там... троюродные, но все ж таки родичи. Одним словом, дядя и тетя. Они люди богатые,

у них в Сорочинцах целые хоромы, а детей — нет. Так что, детки, как они приедут, вы им на глаза не очень попадайтесь. Будете здороваться — поцелуйте ручки, говорите только тогда, когда вас о чем-нибудь спросят, но лучше всего играйте в палисанднике или на огороде, теперь лето.

— А где они будут спать, батя?

— Спать они будут в хате. А вы, детки, в клуне, на сене, ничего, теперь тепло!

Так это же замечательно — спать в клуне, на сене!

Обычно мать боялась нас, ребят, оставлять одних на всю ночь в клуне.

— Как бы пожара не наделали!

Спали мы там только тогда, когда мать или отец бывали на нас сердиты, а это случалось не часто.

«Погостили бы дядя с тетей у нас подольше! — мечтали мы, маленькие. — Мы бы тогда так и жили в клуне!»

Мать прибрала хату, постелила «дорожку», посыпала пол травой — стало в хате ароматно, зелено, нарядно.

...Наконец пожаловали сорочинские дядя и тетя. Приехали они не на возу, а в парном тарантасе. Воронье кони в упряжке — гладкие, сытые; на козлах — сивый дед с длинными, опущенными книзу усами. В зубах у деда трубка-носогрейка.

Отец с матерью подошли к тарантасу, низко поклонились важным родственникам, и отец нарочито радостно произнес:

— Милости просим!

А мы, дети, толпились у порога да тарасили на приехавших удивленные глазенки.

Подошли дядя с тетей к нам.

— Здравствуйте, детки! Да сколько ж тут вас!

Мы им хором, хоть и не очень складно, но все же ответили:

— Здравствуйте!

Впервые мы видели богатых родственников.

Чуждыми они нам показались!

Дядя низенький, худенький, с рыженькой острой бородкой, с колючими подстриженными усиками. Маленькие глазки глубоко прячутся в глазных впадинах. И быстро там бегают туда-сюда. На голове у дяди картуз с лаковым козырьком. Одет в какое-то странное одеяние: длинный-длиннющий пиджак. Потом уж я дознался, что это называется скюртуком. На ногах у дяди сапоги «бутылками», блестящие-блестящие, лакированные. А на жилетке — серебряная цепочка, и на ней — большие серебряные часы. А тетя!

Из тети свободно можно было бы выкроить трех таких дядей. Тетя была высокая, представительная, пышная! А лицо у нее белое-белое, и на нем густые, черные большие брови-ласточки. На щеках, когда смеется, появляются ямочки. Когда она сбросила свой серый дорожный пыльник, мы увидели на тете шелковое голубое платье, длинное, чуть не до пят, отделанное золотом, перехваченное каким-то роскошным поясом с бляхой. Кружева обвивали тетину шею, спускаясь на плечи и грудь. Войдя в хату, гости перекрестились, сели, и тетя сунула матери какой-то сверток.

— Это вам, сестрица!

А потом подозвала нас, детей, и каждому дала по три шоколадки.

— Скажите же спасибо!—приказала мать.

— Спасибо! Спасибо!

И всей стаей, с шоколадками в кулаке, скорей в палисадник!

Через некоторое время в палисадник вышел дядя.

Увидел меня, подошел, спросил:

— В школу уже ходишь?

— Нет, я еще маленький.

— А читать умеешь?

— Нет, еще не умею. Буквы все разбираю, а складывать не умею. А вот с Федьком, со старшим братом, мы складываем и слова. Федько осенью уже в школу пойдет, а я, может, еще только той осенью!..

— Ну ничего, вырастешь и научишься читать!—сказал дядя.

На первый взгляд дядя мне не понравился, показался он мне каким-то колючим, неприятным, а потом выяснилось, что к ребятам он хорошо относился, ласково, хоть своих детей у него и не было.

А может быть, именно потому так мил и хорош был наш дядя с чужими детьми, что не имел своих...

Тогда в палисаднике, поглаживая меня по голове, дядя сказал:

— А про Сорочинцы ты слыхал?

— Слыхал. Вы ведь там живете!

— А про Гоголя слыхал?

— Про какого такого Гоголя? Нет, не слыхал!

— Вот когда пойдешь в школу да начнешь читать, тогда узнаешь, что в Сорочинцах, где мы живем, родился писатель Николай Васильевич Гоголь, который написал «Сорочинскую ярмарку». А родился он на нашей улице!

Я уже не помню, что еще сказал дядя про Гоголя и его сочинения, но про «Сорочинскую ярмарку» запомнил хорошо.

Почему запомнил — об этом я уже говорил. И мне тогда показалось, что дядя наш горд и доволен не тем, что был на свете великий писатель Гоголь, а тем, что Гоголь родился «у нас в Сорочинцах» и не на какой-нибудь другой, а именно «на нашей улице».

Вот, мол, какие мы!

А у меня тогда, после дядиных слов, все горело внутри: так хотелось в школу, чтобы поскорей научиться читать, да и прочесть наконец эту самую «Сорочинскую ярмарку».

Ох, как давно это было!

А теперь, когда я смотрю на шесть томов полного собрания сочинений Н. В. Гоголя в глянцеви́тых переплетах, что стоят в моем книжном шкафу, в памяти всплывают детские годы, хутор на Полтавщине, сорочинские дядя и тетя, ярмарка с лотками, цыганами, конями, сбитнем, конфетами, с баткиным пятаком и впервые услышанные слова про сорочинского писателя Гоголя, что «Сорочинскую ярмарку» написал, и — нестерпимое до боли! — желание скорее научиться читать.

И детское:

— Написал про «Сорочинскую ярмарку»?! Ой, какой же это, наверное, хороший писатель!

Как видите, иногда дети в оценке писателей не ошибаются.

II

Родители мои были люди грамотные. По тем временам это означало, что они умели читать и писать. Правда, никакой библиотеки у нас в доме не было. Из немногих книжек, водившихся в нашей хате, помню только две: Евангелие в красном кожаном переплете и комплект журнала «Русский паломник» за какой-то очень давний год. Откуда и как он попал к нам, этот «Паломник», — бог его знает! Не помню, чтобы отец когда-нибудь читал Евангелие, он только старательно записывал на последнем чистом листе, кто из нас, детей, когда родился.

«Павел род. 188... году, января...»

Когда он крупными буквами исписал весь лист, пришлось подклеить в Евангелие еще один — не помещались новорожденные! Зато мать, помню, очень часто обращалась к «Русскому паломнику». По субботам вечером она обязательно читала свой «Паломник».

Другой какой-нибудь книжки, которую читала бы моя мать, я не могу припомнить.

Двадцать пять лет я помню свою мать, и все эти двадцать пять лет она читала этот самый «Русский паломник». Очевидно, интересная книжка.

Когда мы уже ходили в школу и научились наконец читать, мы стали брать книги в библиотеке, которая находилась в местечке при волостном правлении.

Библиотека, правда, была невелика и на всю большую волость одна, книги были зачитаны, подклеены, заклеены и переклеены, но все же читать их можно было.

Сочинения Н. В. Гоголя в библиотеке имелись.

И... сбылась моя мечта!

Я прочитал «Сорочинскую ярмарку»!

Это была, пожалуй, первая книжка, которую я прочитал самостоятельно. Разумеется, я взял весь сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», и как же я обрадовался, когда сразу же вслед за предисловием пасичника Рудого Панька увидел ее — мою «Сорочинскую ярмарку»!

Немного в повести было не так, как представлялось мне в моем детском воображении, хотя там и рассказывалось обо всем, что творилось у нас на ярмарке.

Ведь на нашей ярмарке, увы, не появлялась красная свитка.

А гоголевских Солопиев Черевиков, и Цибулей, и Хиврей, и Парасей, и Грицьков была у нас полная ярмарка.

И такие были, что даже Солопия с Цибулей перепили и Хиврю бы переругали!

Перечитал я и «Вечер накануне Ивана Купала», и «Майскую ночь», и «Страшную месть», и так далее, и так далее.

С волнением и трепетом перечитал. А вечерами мы, ребята, играли в «красные свитки», пугали всех, бегали, хрюкали до тех пор, пока, бывало, мать не отдует веником.

Когда мы, старшие, подросли, бабка наша уже маленьким рассказывала сказки, — как прежде нам, — обычные сказки про ведьм, про леших, про водяных, про домовых.

Однажды вечером я взял книжку.

— Давайте, бабушка, я вам почитаю.

— Почитай, внучек!

Я стал читать «Заколдованное место». Бабка в страшных местах крестилась и приговаривала:

— Свят!.. Свят!.. Свят!..

— Бабушка, чего вы креститесь? Этого же не было! Это писатель сочинил!

— Как же не было, когда в книжке написано,— отпарировала бабка.

Она точно определила Н. В. Гоголя как великого реалиста:

— Если бы не было, не написал бы!

Всею жизнью своей, всем творчеством своим Н. В. Гоголь доказал это:

— Если бы не было, не написал бы!..

III

Вот так с детства и до старости с Гоголем.

Повлиял ли Гоголь на мое творчество?

Ну, а как вы думаете?

Да разве может писатель, каждый писатель, а тем более юморист и сатирик, пройти мимо творчества моего великого земляка Николая Васильевича Гоголя?

И читаю, и изучаю, и каждый раз поражаюсь:

— Откуда оно, из каких криниц, из каких глубин прозрачным источником играет и льется чарующее гоголевское слово?

И Сорочинцы на месте... Да разве это старые Сорочинцы?! И Диканька процветает. Да еще какая Диканька! И в Миргороде давно уже высохла знаменитая лужа, и он, Миргород, уже не гоголевский Миргород, а великолепный советский курорт! Но вот Гоголя нового нет!

Неужели талантище Николая Васильевича впитал весь смех, все чары, всю красоту, все краски жизни?

— Нет! Нет! Нет!

Николаи Гоголи не каждый год появляются на свет, но запомните, настанет день, когда появятся у нас великолепные советские «Вечера».

Может быть, это будут «Вечера» не близ Диканьки, а близ Каховки, а если не близ Каховки, то близ Шевченковской МТС — не знаю, близ чего, но будут «Вечера».

Непременно будут!

Слово великого Гоголя не только не умрет, а даст чудесную поросль.

Даст! Даст! Даст!

IV

Еще до юбилейных торжеств в связи со столетием со дня смерти Гоголя на мою долю выпала большая честь поработать над переводом драматических произведений великого моего земляка на украинский язык.

Я перевел «Ревизора», «Женитьбу», «Игроков», «Приложения к комедии «Ревизор», «Театральный разъезд».

И «Ревизор», и «Женитьба», и «Игроки» в переводе на украинский язык существовали, но наши литературоведы считают, что переводчики не совсем справились со своей задачей, они отошли от авторского оригинала, не сумели сберечь и передать в своих переводах весь аромат гоголевского слова.

Первым перевел «Ревизора» и первым же поставил его на украинской сцене корифей украинского театра Николай Карпович Садовский (Тобилевич)— один из трех знаменитых братьев Тобилевичей (Карпенко-Карый, Садовский, Саксаганский).

Сам Садовский играл Городничего.

Играл он его замечательно.

Мне довелось посмотреть «Ревизора» в театре Н. К. Садовского.

Хлестакова тогда играл там (и тоже чудесно!) наш современник, ныне народный артист СССР Иван Александрович Марьяненко.

Рассказывают, что знаменитый Давыдов, тогда артист Петербургского императорского Александринского театра, один из лучших Городничих, приезжал в Киев специально для того, чтобы посмотреть, как играет Городничего Садовский, и восхищался его исполнением роли А. А. Сквозник-Дмухановского.

Перевод Н. К. Садовского, однако, в наше время стал звучать старомодно и потребовал обновления.

Другие переводы мне не пришлось прочитать.

Разумеется, судить о качестве своей работы я не могу, скажу только, что никогда я так не волновался, работая в литературе, как волновался, переводя пьесы Гоголя.

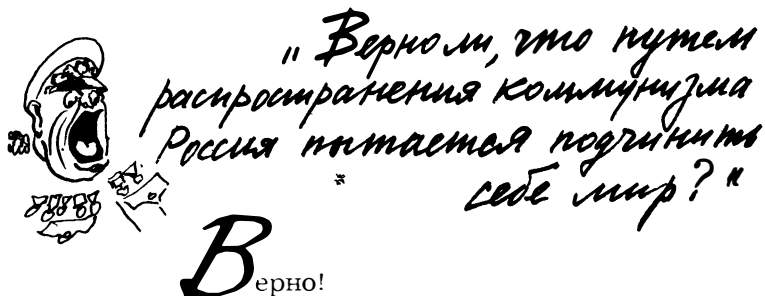
Сохранить красоту, очарование, аромат гоголевского слова — трудная задача. Трудная, но почетная.

Я сердечно благодарю поэта, академика и лауреата Государственной премии М. Ф. Рылского за большую помощь, которую он оказал мне в моей работе.

Украинские советские литераторы должны точно и полностью перевести сочинения Н. В. Гоголя, и если мне выпала эта честь, то это никак не означает, что работа уже выполнена как следует и что за нее уже не надо снова браться другим, чтобы наконец получить перевод, достойный несравненного оригинала.

Вот так, с детства и до преклонных лет, с великим земляком своим, с Гоголем,— в сердце.

Да будет же ему вечно земля пухом!



*"Верно ли, что путем
распространения коммунизма
Россия пытается подчинить
себе мир?"*

Верно!

Идея мирового господства появилась в России на второй день Октябрьской социалистической революции, то есть 8-го ноября 1917 года, ровно в 18.00.

Владимир Ильич Ленин после обеда — обед был как раз слишком роскошный: 25—30 граммов черных сухарей и две столовые ложки пшенной каши без масла, — так вот, товарищ Ленин, сытно пообедав, задумался, тихонько что-то напевая.

Когда жену Ленина, Надежду Константиновну Крупскую, спросили, о чем задумался вождь мирового пролетариата, Надежда Константиновна ответила:

¹ Летом 1956 года редакция американского юмористического журнала «Баунти» обратилась к советским публицистам с просьбой ответить на некоторые вопросы. Ответы редакция обещала напечатать на страницах «Баунти».

Просьба американского журнала была своевременно выполнена. Однако «Баунти» перестал выходить, так и не успев выполнить своего обещания.

На один из вопросов журнала «Баунти»: «Верно ли, что путем распространения коммунизма Россия пытается подчинить себе мир?» — ответ написал Остап Вишня.

— Разве не догадываетесь? Видите, Владимир Ильич сидит в кресле, голову чуть закинул назад, глаза прищурил и в глубокой задумчивости напевает:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем.

Это и была негласная директива В. И. Ленина о мировом господстве.

Мы наш, мы новый мир построим!.. В этом заключалась задача.

За первые две недели Советской власти большевики не смогли овладеть вселенной, ибо, как вы, очевидно, помните, они на протяжении указанных двух недель все время собирались пасть.

Помните, конечно, тогдашний прогноз всего капиталистического мира:

— Больше двух недель большевики не продержатся — падут!

Как же им было заниматься в такое время мировым господством?

Не пали, но и вселенной овладеть не успели!

Потом — вы это тоже, очевидно, припоминаете — четырнадцать капиталистических государств по инициативе Уинстона Черчилля начали помогать русскому народу, как они говорили, добыть свободу и пользоваться той свободой вместе с помещиками и капиталистами. Свободу эту четырнадцать держав везли на танках, пушках и несли на остриях штыков.

И это, а также то, что большевики учились пожирать детей (согласно зарубежной информации), было причиной того, что мировое господство пришлось на время отложить.

Индустриализация страны, которой капиталистический мир очень «помогал», поддерживая всякими способами саботаж специалистов, вредительство на шахтах, фабриках и заводах — все это тоже не совсем благоприятствовало мировому господству.

Потом большевики взялись за коллективизацию сельского хозяйства. В этот период сложнейшей проблемой для Советской власти (о чем много говорилось и писалось в капиталистических странах) была проблема общего одеяла.

Основным признаком коллективной жизни, как писала капиталистическая пресса, являлось обобществление жен.

— Спят все вместе, кто с кем попало, дети от матерей отбираются и вскармливаются коммунистическим молоком, только от коров красной масти! — так о коллективной жизни писала тогда эта «объективная и правдивая» пресса.

Спать вместе для нас не было проблемой, мы сразу научились. А вот где взять такое общее одеяло, чтобы всех вместе укрыло,— над этим пришлось голову поломать.

Был создан специальный научно-исследовательский институт общего одеяла (НИИОБОД).

Общее одеяло было найдено за сравнительно короткое время, а вот добиться того, чтобы это одеяло ночью, во время сна, не перетягивали на себя более сильные члены коллектива,— над этим бились долго, пока одному кандидату текстильно-одеяльных наук не пришла в голову блестящая идея: на том конце одеяла, которым укрывались ноги, делать дырки, куда каждый коллективист, укрывающийся общим одеялом, просовывал большой палец правой ноги. И благодаря этому среди членов коллектива сохранялись: *Liberté, Egalité, Fraternité*¹.

А всемирное господство откладывалось!

Потом вторая мировая война. Запахло Гитлером.

Разумеется, на это время мы припрятали идею мирового господства, так как, сами понимаете, было не до того.

Закончилась одна война, началась другая — холодная, и мы снова взялись осуществлять мировое господство.

Как?

Ну, ясно, что только путем распространения коммунизма!

Как мы экспортируем в капиталистические страны коммунизм?

Это, разумеется, секрет, но, поскольку социалистическая система уже не является монополией Советского Союза, можно этот секрет раскрыть.

Лучший способ экспортировать идеи коммунизма в капиталистические страны — упаковка и пересылка коммунизма с помощью каракулевых смушек.

Как это делается?

Очень просто: берется коммунистическая идея, скручивается в тоненькую трубочку и прячется в завиток каракулевой смушки.

¹ Свобода, равенство, братство (*фр.*)

Если вы внимательно присмотритесь к каракулевой смушке, вы заметите, что один завиток шерсти завит только раз, а другой — дважды. Вот там, где завиток двойной, и запрятана коммунистическая идея.

Попадая за границу, такая смушка с коммунистическими идеями ни у кого не вызывает никакого подозрения. Человек носит каракулевый воротник, или шапку, или целое каракулевое манто, завитки медленно раскручиваются, коммунистические идеи оттуда выпархивают, с помощью жевательной резинки попадают в организм, и человек начинает кричать и требовать, чтобы какой-нибудь толковый психиатр пощупал голову мистера Даллеса.

Ясно?

1956



Педагогическая проза

I

Не повезло Павлику с родителями. Родить, правда, они его родили, но вот с воспитанием у них не получилось. Фамилия Павлика — Зайка. Родился он в 1942 году.

«Маманя» Павлика, Раиса Ивановна Зайка, продала Павлика за пятьсот рублей его же собственному отцу — Петру Павловичу Зайке, старшему технику Института гражданского воздушного флота, когда Павлику было пять лет, и ушла к другому «папане» в Вышгород.

Не просто продала, а по договору. Так и написали:

«Договор

...Мы не сошлись характерами, и я, Зайка Раиса Ивановна, решила выехать к себе на родину. Зайку Павла Петровича оставляю с Зайкой Петром Павловичем, отказываясь от него до его совершеннолетия. После армии предоставить ему право выбрать, с кем жить он хочет... Мое требование — 500 рублей. Я, Зайка Р.И., получаю деньги и через полчаса ухожу из квартиры и больше не возвращаюсь...

Деньги выдал П. Зайка.
Деньги получила Р. Зайка.

5 октября 1947 года».

И все!.. И не стало у Павлика родной мамы, но зато есть родной отец и договор о купле-продаже сына.

Вскоре, конечно, появилась у Павлика Зайки неродная мать, мачеха.

Как же родной отец с мачехой воспитывали Павлика? Довольно оригинально.

Кроме общеизвестных мер воспитания, а именно: ставили на колени в угол, не впускали в квартиру, морили голодом, водили ободранным, грязным и т. д., — немаловажную роль играл резиновый шланг.

Павлик говорит:

— ..Я получил плохие отметки: по арифметике — двойку, по русскому — единицу. За это отец избил меня резиновым шлангом, все тело было в синяках...

Резиновый шланг, как видите, на детское тело влиял, а на отметки — не очень.

Помимо резинового шланга, отец Павлика, как он сам об этом свидетельствует, практиковал и другие методы воспитания двенадцатилетнего сына:

«Я его бил, ставил на два часа на колени в угол и заставлял держать два часа над головой веник, говорил, что не пущу гулять... Не воспитывался Павлик...

...Я его поставил в угол, а под колени положил железо (полосу от солдатской кровати), но и это на него не влияло...»

Вот так упрямый ребенок!

После железной полосы Павлик бросился с ножом на мачеху, ругал ее, а вечером, захватив лыжи, исчез в «неизвестном направлении».

Родная мать отсудила Павлика себе на воспитание. Оно и понятно: Павлик для нее был источником доходов — как-никак алименты!

Отец платил алименты, но и у родной матери Павлик был беспризорным, тем паче, что у мамани начались всякие неполадки в новой семейной жизни: она то разводилась, то снова играла свадьбу...

А папане между тем платить алименты не хотелось...

Куда обращаться дальше?

В милицию! Папаня не просит, он требует, чтобы милиция помогла ему воспитать сына. Он пишет:

«Прошу оказать мне помощь. Если не поможете — буду жаловаться городской милиции».

Вот как!

Я, мол, родил, а вы, милиция, воспитывайте! А то я вам!

И что вы думаете? Ну, оштрафовали папаню на сто рублей за беспризорность ребенка, но он все же добился постановления исполкома Подольского райсовета устроить Павлика в детский дом.

Это при живых и здоровых папаше и мамаше.

Добрая, ей-богу, добрая у нас милиция!

II

«...Сколько ни стараюсь, я не в силах заставить моего сына бросить группу преступников-рецидивистов и вернуться к нормальной жизни в семье, а поэтому прошу Вашего распоряжения изолировать его в исправительной детской колонии, на что есть согласие городской прокуратуры...»

Это из письма еще одного отца.

Речь идет о пятнадцатилетнем школьнике Александре Щербенко, у которого есть и отец — главный инженер треста «Продмашдеталь» и мать — секретарь одного из киевских учреждений.

И вот сын — преступник, его ловят на базаре, когда он тащит из чужого кармана деньги. Родителей Саша Щербенко, конечно, не слушает, школу оставил, работать нигде не хочет, и отец просит милицию забрать сына в детскую колонию. И что вы думаете?

Есть уже решение направить Сашу в колонию.

Какая добрая наша милиция, дай бог ей здоровья!

III

Позвольте порекомендовать вам еще одного «папаню».

В Киеве, на улице Л. Толстого, 11, проживает тов. Скобелев М. И., член КПСС, майор в отставке. Он женился до войны, нажил сына Славика, которому теперь пятнадцать лет. После войны М. И. Скобелев к семье не вернулся, женился на гр. Нечипоренко Н. А., работающей в «Главмуке». Она тоже член КПСС, секретарь парторганизации. Славик жил со своей матерью где-то в Молдавии, мама умерла, его забрал дядя со стороны матери и привез к себе в Киев. Отец не принял Славика: жена не желает! Дядя нанял для Славика в Святошине угол, где он и живет один-одинешенек. Отец

выдает ему триста рублей в месяц. Учится в восьмом классе. Сам о себе заботится: стирает для себя белье, готовит еду и т. д. Мальчик не слышит теплого слова, не чувствует родительской ласки. А Славик, несмотря на такую жизнь,—хороший, честный мальчик. Учиться ему, понятно, трудно! Слишком много времени уходит на самообслуживание.

Когда Славик как-то пришел в гости к своему отцу, папая попросил его не ходить, потому что считает, что Славик не его сын и, кроме того, жена против таких визитов.

Так и бедствует ребенок. При живом отце Славик — круглый сирота.

IV

Мы привели несколько примеров бездушного, черствого, бесчеловечного отношения родителей к своим детям.

Бывает и наоборот.

В киевской средней школе № 86 в девятом классе учится сын старшего инженера-технолога завода «Укркабель», члена КПСС Мушинского. Жена Мушинского тоже работает. Сына воспитывает бабушка. И мать и бабушка молятся на Вячеслава. Воспитывают барчука-бездельника. Распущенность Вячеслава достигла предела. Он систематически прогуливает (прогулял двести тринадцать уроков!), за вторую четверть у него шесть двоек. Нарушает дисциплину, грубит учителям, часто возвращается домой ночью, в одиннадцать-двенадцать часов. Мать и бабушка скрывают от отца «подвиги» Вячеслава, а отец воспитанием сына не занимается. На сигналы из школы он не обращает никакого внимания и видит все зло дурного воспитания сына только в матери и бабушке.

Вот пример, так сказать, нежнейшей к сыну любви и оранжевого воспитания.

V

Вы думаете, мы против того, чтобы Павлик или Саша воспитывались в детском доме или в трудовой колонии? Нет, мы за это! Трижды за это! Потому что мы знаем, что оттуда они выйдут людьми.

Но что прикажете делать с такими, простите, папаями и мамаями?

Я не говорю, что их надо обязательно «обрабатывать» резиновым шлангом или ставить голыми коленями на железные полосы от кровати (хотя, по правде говоря, очень чешутся руки!), но делать все же что-то такое надо, чтобы они серьезно отвечали за воспитание детей и не надеялись на милицию.

Иначе, в противном случае, почему бы, к примеру, и мне не написать такое письмо начальнику Киевской городской милиции:

«Дорогой товарищ начальник!

Моя внучка капризничает и по ночам не спит. Из сил выбились. Отрядите, прошу я вас, старшину милиции, только не очень усатого, пусть придет, укачает... А если не пришлете, я министру напишу...»

Нет, надо найти способ заставить таких родителей серьезно выполнять свои родительские обязанности.

Не пора ли подумать о том, чтобы не только для детей, но и для таких папань с мамами организовать трудовые исправительные колонии?

VI

Печально и грустно писать и говорить о подобных фактах. Немного их у нас, но, к сожалению, они все же имеются.

Конечно, не эти факты характерны для воспитания детей в нашей стране.

И если мы требуем суровых мер к беззаботным, жестоким и бездушным родителям, то с чувством гордости снимаем шляпу и низко кланяемся перед такими матерями, как зоотехник Таисия Ананьевна Оксютенко, которая работает в рыбном рассаднике и воспитывает без мужа четырех детей (и все они прекрасно учатся, растут хорошими советскими людьми!), перед такими, как Александра Зосимовна Кобзан из артели «25 лет кооперации инвалидов», которая сама растит трех сыновей — гордость и матери и школы, где они учатся.

А наши многодетные матери! Сколько их! И каких чудесных советских граждан они воспитывают!

Они помнят слова А. С. Макаренко:

«Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны и, значит, и историю мира».

Первый диктант



I

Б

ЫЛО это давным-давно.

В те времена, о которых старые люди шутя говорили: — Было это во времена царя Гороха, когда нам жилось плохо.

А был тогда и в самом деле царь, но звали его не Горохом, а Николаем, и были на нашей земле паны — помещики и капиталисты.

Жили мы на хуторе, а от хутора до села версты три — потеперешнему километра три с гаком.

На хуторе стояло с десяток хат, а вокруг — лес, где росли высокие елочки, раскидистые клены и могучие, в три-четыре обхвата, дубы...

А орешника, орешника! Густые кусты орешника вдоль хутора по опушке протянулись вплоть до ахтырского шляха, а потом повернули на Рубаны, с Рубанов на Шаповаловку, и до самого Рыбальского хутора все орешник, орешник...

А сколько, бывало, уродится орехов! Каждый день мы полные пазухи орехов приносили. Мать их посушит, и зимой, в воскресенье, у нас и подсолнух, и тыквенные семечки, и орехи...

Лузуем, бывало, мы подсолнухи с тыквенными семечками да орехи — даже языки деревенеют. Мать смотрит и только покрикивает:

— Губы, губы вытирайте!

У отца с матерью нас было пятеро: самая старшая — сестрица Парася; за нею шел я; а после меня нашелся в капусте братишка Ивасик; а после Ивасика аист принес сестренку Пистынку; затем, не помню где, нашли еще две сестрички.

Это нас было столько в ту пору, о которой я сейчас рассказываю.

А позже нам приносили братцев и сестричек и аисты, и в капусте их находили, и из колодца вытаскивали.

Всего у отца с матерью нас было двенадцать братишек и сестричек.

Самую маленькую сестренку Орисю бабка Секлета нашла на огороде, под калиновым кустом.

Ох и плаксивая же была эта Ория! Перед тем как закричать, сморщится, бывало, так, будто калиновую ягоду раскусила.

Мать, укачивая ее, приговаривала.

— Недаром тебя, плаксу, бабка Секлета под калиновым кустом нашла! Все тебе кисло!..

А теперь сестренка Ория — врач, заведует в районе родильным домом, детишек лечит, чтобы здоровые были и не были.

II

Школы на хуторе не было, не было и церкви с церковно-приходским училищем, и вырастали хуторяне большей частью неграмотными. Даже у дьячка нельзя было поучиться грамоте: дьячка на хуторе тоже не было.

А как нашим родителям хотелось, чтобы мы, их дети, научились писать и читать, ибо если залетит иногда в хутор какое-нибудь письмо из далекой солдатчины, так его некому было прочесть. Завертывалось письмо в белецкий платочек, и ковыляли с ним до самого села, к учительнице, или к дьячку, или к сидельцу винной лавки — «монопольки»:

— Прочитайте, прошу вас! Я вот вам яичек принесла!

Учительница на селе была тогда старенькая и слабенькая, ей с письмами стыдилось надоедать. Вот и читали письма дьяк с сидельцем и складывали в своих кладовках яйца.

Учить детей!

Это ничего, что школа далеко, что детишкам и в осенние дожди и в зимние метели приходилось шагать десятки километров туда и обратно пешком. Это полбеда. Самая большая беда, непреодолимая для большинства родителей, — сапоги.

— На ту зиму Парасе в школу пора, а где сапоги возьмешь?

Все же сапоги Парасе справили. Весною умерла бабушка, ее истоптанные шкрабы перешили Парасе. Хоть и невидные, но все же сапожки; а если дегтем смазать, так и блестящие.

Начала Парася в школу ходить, по вечерам стоит, бывало, у плошки и все: «А-а-а», «бы-бы-бы...»

А мы, маленькие, окружим ее и за нею: «А-а-а», «бы-бы-бы...» Пока мать, бывало:

— А ну, грамотеи, спать!

На следующую зиму и мне надо было идти в школу.

— А сапоги? Где же мы сапоги возьмем? — сетовала мать. Отца мы видели очень-очень редко: он работал по найму в панской экономии, был конюхом при господских лошадях.

Как-то в воскресенье пришел из экономии домой отец. Долго они с матерью соображали, где бы взять сапоги, чтобы мне было в чем в школу ходить. Так-таки ничего и не придумали, а решили, что мы с Парасей будем ходить в школу по очереди: один день она, один день я...

Так и начал я ходить в школу...

Учила нас доброй души старенькая учительница Мария Андреевна, маленькая, годами сгорбленная старушка, которая все куталась в теплый платок и все кашляла.

Добрая-добрая была, ласковая и тихая...

Никогда она нас, хуторских школьников, как закрутит, бывало, зимой метелица, не пустит домой на хутор — оставит в школе на ночь, даст кулешику или зажарит яичницу, чайком напоит, да еще и с конфетками. У печи на полу рядом постелит, на рядом кожух, подушку положит; посмотрит, как мы разуваемся, не мокрые ли у нас ноги; если влажные, прикажет насухо вытереть, портянки на лежанке разбросать, сапожки под печку поставить и только тогда укутает нас:

— Спите, детки!

А сама сидит у стола, все читает, все читает и кашляет...

А утром разбудит нас, позавтракать даст...

И когда она спала, кто знает!

Любили мы старенькую нашу учительницу Марию Андреевну, очень любили! И любили и слушались ее, да и мать, бывало, и мне и Парасе всегда наказывала:

— Слушайтесь Марию Андреевну и не огорчайте ее! Такой учительнице, как ваша, низко кланяться надо!

Ой, как давно это было, но до сих пор у нас старые люди вспоминают чудесной души человека — народную учительницу Марию Андреевну. И могила ее летом всегда украшена цветами: бывшие ученики помнят о ней...

Уже третью зиму ходил я в школу. Парася посещала школу только две зимы и на том закончила свое образование, так как у нас еще добавилось трое братиков и сестричек и матери самой трудно было с такой оравой управиться.

Сапогами чередовались мы уже с братишкой Ивасиком.

И вот однажды, после рождественских каникул, входит в класс Мария Андреевна и обращается к нам, посещавшим школу третью зиму:

— Вот что, дети, начнем мы с вами теперь каждую неделю под диктовку писать. Я буду вслух читать, диктовать, а вы вслушивайтесь и пишите в свои тетради то, что я вам продиктую. Выньте тетради!

— И в книжку не заглядывать? — послышалось со всех парт.

— Не заглядывать. На то и диктант. Вот мы и проверим, как вы научились писать. Вы ведь из книжек списывали? Припомните, как в книжке слова напечатаны. Вам встретится много таких слов, которые вы из книжки списывали... Не спешите, думайте... Ну, начинаю... Имейте в виду, что весной будут у вас выпускные экзамены, а на экзаменах обязательно будет диктовка, диктант...

Начала Мария Андреевна диктовать.

Всего первого диктанта я не припомню, но одну фразу помню очень хорошо.

Диктовала она по-русски, так как школ на родном, украинском языке при царе на Украине не было.

Вот какую фразу продиктовала Мария Андреевна:

«По полю ехала коляска с господами, запряженная четверкой великолепных лошадей. За коляской бежала и лаяла собачка испанской породы...»

Мария Андреевна повторила это самое еще раз. Мы зашелестели тетрадями, зашуршали перьями.

На другой день Мария Андреевна принесла проверенные тетради.

Начала она говорить о том, что написали мы первый диктант не очень, так сказать, удачно: ошибок многовато, а когда вспомнила про коляску с господами да с собачкой «испанской породы», не выдержала, залилась веселым смехом; смех перешел в кашель, из глаз полились слезы, и она упала в кресло, вытирая слезы.

— И что вы написали? Ну где вы такое слышали?
Мы насторожились.

— Вас шестнадцать учеников, и пятнадцать из вас написали: «За коляской бежала и лаялася собачка из панской породы...» Где вы слышали, что есть на свете собаки панской или не панской породы и чтобы они «лаялись»? Порода «испанская», есть такое государство Испания, а собаки не «лаются» — по-русски «ругаются», а «лают» — по-нашему «гавкают»... Понял? — спросила она меня.

— Да не очень, Мария Андреевна! Я так думал: если едут паны, то и собака у них панской породы. Батько часто говорит, что то пан, то барыня лают их, работников, и я подумал, что если паны лаются, то и ихние собаки не лучше их и тоже лаются...

— А оно, видишь, и не так! — засмеялась Мария Андреевна. — Да у тебя и без того еще много ошибок. Поставила я тебе двойку. Подтянуться надо! Садись!

Я сел и чуть не заплакал.

— Подохла бы эта собака вместе с панами!

1955



«От Бузины до Колодца»



I

а границе раздольно-кудрявой Полтавщины с замечтавшейся Слобожанщиной, над древним шляхом, в неглубокой впадине между двумя пригорками, прижался небольшой хуторок. Хаток так на тридцать. Хатки убогие, потрепанные, с небольшими двориками, а за хатками не то тебе огород, не то тебе сад-виноград. Летом у домика торчит с полдесятка подсолнечников, под окнами — один-два розовых куста, а там, где следовало бы быть садику, виднелась вишня, дикая груша или дикая яблоня.

Не очень ревели в том хуторе коровы, не ржали кони, да и свиней не много купалось по лужам на неширокой хуторской

улице, не пылила по вечерам, возвращаясь с пастбища, овечья отара,— а так мекнет где-нибудь вдоль поветки одна-единственная овечка, и все.

Не густо было и кур...

Убогие хозяева жили на хуторе, и как он, хутор, назывался в волостных реестрах, неизвестно, а среди окрестного люда имел не очень, так сказать, пышное название: «Злыдни»...

— Где живете?

— На Злыднях!

— Куда идете?

— На Злыдни!

У самого шляха около этого хутора росла верба, старая-престарая верба, раскидистая и кудрявая. К стволу вербы под небольшой железной крышей была прибита икона Ахтырской божьей матери, у вербы была вкопана в землю небольшая скамейка. И всегда летом на этой скамеечке под вербой сидел толстый кудлатый монах в рясе, подпоясанный черным лакированным пояском. На голове у монаха торчала островерхая скуфейка, а в руке он держал какое-то такое святое снаряжение: палочку, на палочке из замусоленной парчи сумка, а около сумки небольшой колокольчик.

Идет ли кто или едет по дороге мимо вербы, монах встает с лавочки со своим снаряжением:

— Дзелень-дзелень-дзелень! Пожертвуйте, православные, на благолепие храма божьего монастырского!

И православные иногда жертвовали. Бросали в замусоленную мощну горемычные гроши и копейки, осеняя себя широким крестом с низким поклоном Ахтырской божьей матери.

Толстый монах кивал головой и гнусавым тенорком возносил:

— Да спасет вас пресвятая богородица!

А потом припевал:

— Те-е-ебе, го-о-спо-о-о-ди!

Недалеко, верстах в десяти от этого хуторка, на живописной горе, над чудесной рекой был мужской монастырь. От этого-то монастыря монах и сидел под вербой около хутора.

II

Странно было, что в небольшом хуторе было очень много детей. Тот, кто ехал напрямик через хутор, чтобы скорее выскочить на шлях, удивлялся тому, что на улице против

каждого двора в пыли резвились целые кучи ребятишек, голых или в длинных, до пят, рубашонках. Те, кто поменьше, играли в бахчу, лепили из глины церковь, пирожок, а кто постарше, играли в чурки, в жмурки, бегали наперегонки...

И откуда эти дети брались?

Мужчин ни на улице, ни по дворам не видно было,— одни женщины, да иногда желто-серый дед, глядишь, на крыльце лысину греет на солнце,— а детей, детей, что семечек.

Мужчины были где-то на заработках, земли у каждого курице негде клонуть, а неподалеку монастырь, монахи и в самом хуторе гнездышко свили, было кому господу милосердному молиться,— господь и посылал детей.

И какие только летом на улице не копошились: и беленькие и черненькие, и русые, и в веснушках, и с «огоньком», и с сыпью на подбородке, и с язвочками, и зубастые, и щербатые...

А когда бузина, бывало, поспеет, тогда все черно-синие! От волос до пят—и спереди и сзади!— черно-синие. Особенно пупы и мордашки.

Да быстрые какие!

Если едет кто-нибудь через хутор—все скопом за возом бегут.

Старшенькие—те, опережая лошадей, кричат:

— Дяденька! Дайте закурить!

А маленькие:

— Дяденька, дайте копейку!

От сердитых путешественников старшим за «покурить» влетало кнутом, а маленьким иногда, глядишь, бублик бросят... Тогда—бой! От бублика только крошки летят!

А если пан, бывало, через хутор промчится на фаэтоне, тогда обязательно все хором:

— Паны заспаны! Паны заспаны!

Только дети с хутора никак не могли произнести «пе» в слове «заспаны», а всегда, да еще и с подчеркиванием, произносили «ре»...

Не любили панов на хуторе. Да где, положим, их любили? Но в Злыднях эта нелюбовь переливалась через край!

III

В одном домике на хуторе как раз в том году, когда ударила Октябрьская революция, родилась девочка Мотря, а через год нашелся у Мотриной матери братик Кузьма.

Сестричка с братиком росли на хуторе так, как и все дети. Но лишь теперь, после Октябрьской революции, им было легче: они и в школу пошли, грамоте научились, и в комсомол записались. Только Мотря, ей еще и семнадцатая весна не минула, замуж вышла за соседского парня и осталась на хуторе — хорошими они с мужем колхозниками стали, — а Кузьму комсомол послал учиться, он закончил рабфак, потом институт и стал ученым, доктором наук и профессором...

Родители умерли, а брат с сестрой жили дружно. Кузьма хоть и был профессором и доктором, но сестры не чурался, приезжал к ней на все лето с женой. Правда, жене, выросшей в городе, это и не очень нравилось: она села не знала и недолюбливала, особенно из-за санузла позади погребя.

Да Кузьма с этим не считался и всегда, как ученый муж, обосновывал свое несогласие с женой репликой покойной бабушки:

— Ничего! Все в море будет!

У Мотри был единственный сын Андрий, родившийся перед Великой Отечественной войной.

Отец Андрия, Мотрин муж, в Великую Отечественную войну пал смертью храбрых на поле боя под Харьковом.

Осталась Мотря с Андрием.

И хоть панов уже не было, хоть Злыдни теперь назывались не Злыднями, а хутором Вольным, и школа на хуторе была, и детские ясли, и детский сад, — но и теперь летом много детей копошилось в песке на улице: маленькие играли в бахчу и лепили уже не кулича и церковь, а клуб или театр, а те, кто постарше, гоняли тряпичный футбольный мяч, занимались боксом, ставили рекорды, кто скорее пробежит стометровку «от почтового ящика до свинарника деда Марко», или играли в войну.

А когда бегали на двести метров, так это уже было «от омельковой бузины до бригадирского колодца».

Бузина и после революции, чертовка, не покраснела, ягоды остались темно-синими, как и при помещиках, и такими же темно-синими становились от нее и теперь пупы и мордочки у детей.

Возился в песке на улице и Андрийко, играл в бахчу, лепил из глины школу, играл в войну, занимался боксом и бегал от почтового ящика до свинарника и от бузины до колодца...

Но не было среди ровесников Андрия такого, кто победил бы его в боксе или опередил в беге на сколько угодно метров.

Андрийко был быстрый мальчик, крепкий, чернявый, с большими карими глазами.

В школе Андрийко не был отличником, но и в хвосте не плелся. Зато лучшего физкультурника в школе в то время не было.

IV

Дядя Кузьма, профессор и доктор наук, после войны работал в Киеве.

К сестре, матери Андрийки, после гибели ее мужа он относился еще теплее и каждое лето обязательно приезжал на хутор не столько отдохнуть, сколько развлечь свою Мотрю.

У дяди Кузьмы было завидное здоровье, в курортах он не нуждался да и не любил их, а для Мотри и Андрийки дядины посещения были настоящим праздником. Жена его примирилась с хутором и уже не скулила насчет курорта, хоть Кузьма не запрещал ей туда ехать.

— Поезжай, если хочешь, в Сочи, а я к Мотре на хутор!

Жена смотрела на себя в зеркало, потом на Кузьму и каждый раз говорила:

— Поеду я с тобой к Мотре! Ты, пожалуй, без меня не сможешь!

— Вот и ладно! Поедем к Мотре, я и в самом деле без тебя не смогу! — говорил Кузьма и даже не улыбался.

Детей у Кузьмы не было, а детей он любил. Его приезд на хутор не только Андрийко, но вся хуторская детвора встречала с большой радостью. Почти все детское хуторское население в день приезда выходило далеко на шлях и ожидало дядю Кузьму.

Профессор приезжал на «Победу», которую вел сам. Приближение машины встречалось отчаяннейшим «урр-ра!».

Кузьма останавливал машину, выходил на шлях, здоровался с детворой и дарил каждому гостинец. Маленьких забирал, сколько влезало, в машину, Андрийку сажал рядом с собой и под крики: «Затукайте, дяденька!» — трогались к хутору.

— Да за-а-а-тутукайте, дяденька! Затукайте! — кричала детвора.

— Тутукай уже ты, Андрийка! — разрешал профессор.

Под детские крики и бесконечные «тутуканья» клаксона машина въезжала в хутор.

Хуторяне тоже приходили на Мотрин двор встречать своего ученого земляка, потому что все его любили и уважали:

Кузьма был простой, сердечный человек, носа не задирает, а был таким, как и полагается быть умному, настоящему человеку.

Отдыхал профессор на хуторе оригинально: все время возился с ребятишками.

Чего только он не придумывал для них! Организовал спортивные «команды»: и футбольную, и волейбольную, и легкоатлетическую. Был у него и детский хор, и танцоры, и декламаторы... Он ходил с детворой по лесам, по лугам, по полям и рассказывал им, что сам знал, и про лес, и про поле, и про речку, и про луг... Он знал множество сказок, знакомил ребятишек и с историей родного хутора, области...

Если бы кому сказали, что по специальности Кузьма профессор политехнического института, где читал лекции о доменных печах,—никто бы не поверил.

Случается такое на белом свете: окончит человек пединститут, выходит специалистом по дошкольному воспитанию, воспитывает детей, а как увидит ребенка, так его выворачивает наизнанку и в руках у него будто не детская игрушка, а острый кинжал...

А тут: специалист-доменщик и... детские сказки, песни, танцы и безграничная нежная любовь к детям... Бывает...

Каждое утро, как только профессор выходил из дому, на воротах, под воротами, на заборе и под забором его уже дожидались ребята.

— Доброе утро! — кричали они хором.

— Здорово, орлята! — отвечал Кузьма.

У профессора была старая собака, смесь пуделя с сеттером. Звали ее Карай. Дети очень любили играть с собакой, но до того надоедали ей, что та удирала от них и скрывалась в хате или залезала под крыльцо. Тогда начиналось:

— Дяденька! Науськайте Карая! Ну, науськайте, что, разве вам жалко?!

Профессор сначала отмахивался от детворы, а потом все же сдавался и звал пса:

— Ну-ка, Карай, возьми их! — командовал Кузьма.

Пес слушался хозяина. Он нехотя лаял и бросался на детей. Детвора с криком врассыпную. Профессор «наускивал»:

— Возьми их, Карай, возьми!

Карай догонял кого-нибудь, хватал зубами длинную рубашонку и тащил в хату.

Детвора бросалась выручать товарища, и начиналась «мала куча»: собака тащила к себе, дети с криком к себе... Шуму, хохоту полон двор. Кончалось все это тем, что в зубах у Карая оставался подол рубашки, а профессор брал у сестры кусок полотна и отправлялся к матери потерпевшего, предупреждая тем самым очередную экзекуцию веником.

— Да разве нашьешься на вас рубашек?!

Но другой такой любимой игры у детей не было, и каждое утро у Мотриных ворот умоляюще звучало:

— Науськайте, дяденька! Что вам, жалко?!

V

Дядя Кузьма увлекался спортом. В свое время он был неплохим центром нападения в институтской футбольной команде, любил он и легкую атлетику: хорошо бегал, прыгал и в прыжках в высоту, будучи на пятом курсе, имел первый разряд.

Он присматривался к своему племяннику Андрийке и видел, что, если парню помочь, если его наставить на правильный путь, из него «получится человек».

Действительно, никто из одноклассов Андрийки не мог его опередить.

Бежали ли мальчишки от «почтового ящика до свинарника» или от «бузины до колодца», Андрийку никто обогнать не мог, всегда он прибегал первым.

Профессор взялся за парня. Бузина, колодец и свинарник с почтовым ящиком были ликвидированы, а на их место дядя Кузьма отмерил правильные сто- и двухсотметровки, отобрал самых быстроногих ребят и начал систематически их тренировать.

Ну, разумеется, стометровки брали не только отобранные Кузьмой мальчишки, а все детское население хутора. Брало с шумом, улюлюканьем, визгом, но брало.

Старательнее всего бежали дети, если в этих «соревнованиях» принимал участие и Карай. Матери тогда не могли загнать бегунов пообедать.

Поработав с ребятами лето, профессор посетил директора семилетки, поговорил с ним о способностях школьников-физкультурников и посоветовал не прекращать тренировки с ними и зимой.

— Способные, очень способные мальчишки! — говорил Кузьма директору школы. — Особенно Андрийка! Грех не развивать этих способностей! Могут вырасти хорошими легкоатлетами-бегунами! А из Андрийки чемпион может выйти!

Директор обещал поговорить со школьным физоргом и проследить за работой со способными школьниками...

Тренировались ребята под наблюдением Кузьмы все лето.

...Прошло лето, профессор с женой уехали в Киев, а ребята на другой же день начинали высчитывать, скоро ли опять наступит лето и дядя Кузьма снова приедет на хутор.

VI

Через несколько лет осенью, во время спортивных состязаний, на столичном стадионе после забега на сто метров зазвучали громкие аплодисменты: студент физкультурного института Андрий Н. поставил новый республиканский рекорд и выполнил норму мастера спорта.

Многие знали, что студент Н. — племянник профессора, знали, что тот внимательно следил за его спортивными достижениями. Все поздравляли профессора с блестящими успехами его племянника.

Профессор улыбался:

— Не меня поздравляйте, товарищи. Не во мне дело! Пошлите приветственную телеграмму на хутор Вольный свиарнику дедушки Марко, омельковой бузине и колодцу бригадира. С них все началось!

С омельковой бузины и колодца бригадира!



„Ни пера, ни пуха...“

Н

I

аверное, киевляне заметили недавно в городе какое-то оживление, особенно на улице Ленина.

Идут люди — то двое, то трое, — идут, горячо о чем-то разговаривают, глаза у них блестят, лица возбуждены, а весь их внешний вид полон какой-то такой бурной стрррасти.

Кое-кто, возможно, думает, что это болельщики футбола возвращаются с очередного матча, который случайно выиграла киевская команда «Динамо».

Ничего подобного: это киевские охотники так горячо обсуждают предстоящее открытие охоты...

Это они советуются, куда поехать на открытие. Каждый из них (и я среди них!) — только он один! — знает такое место, такое место, что такого места никто другой не знает, и что там такой селезень, такой селезень, что такого селезня в другом каком-либо месте не было, нет и никогда не может быть!

— Мы с вами туда поедem! Только никому об этом не говорите, а то понаедут и выстрелить не успеем.

— Да вы же говорите, что там такой селезень, такой селезень!

— Миллион!

- Ну так, значит, на всех хватит!
- Не хватит!
- Миллиона не хватит?
- Не хватит, ведь охотников приедет два миллиона!

II

Чудесный спорт — охота!

Природа, прекрасные озера, луга, ручейки, речушки и реки любимой Советской Отчизны!

Что требуется от охотника, чтобы он получил полное удовлетворение и наслаждение от охоты?

Промазывайте!

Вот летит утка. Вы обязательно точно, как настоящий стрелок-артист, прицельтесь! Крепко прицельтесь и верно прицельтесь... Делайте нужное упреждение. Обязательно!

«Та-ра-рах!»

И промазали! С какой радостью пошлет вам утка глубокую благодарность за то, что будет и дальше жить, обогащая нашу фауну...

А вы смотрите ей вслед и ручкой вот так: «Будь здорова!»

Дома вы, разумеется, скажете:

— Ни разу не промазал!

— А где же утки?

— Пожарили и съели. Очень вкусные! И все селезни!

III

Дожидаюсь уток на перелете, обязательно читайте «Правила охоты на территории УССР». Особенно последнюю страничку: «Расценки за незаконное уничтожение дичи». Лось — три тысячи рублей, олень — две тысячи, утка — двести рублей. Принимая во внимание, что утка на базаре стоит десять рублей, читать «Правила» более чем полезно.

Не забудьте обязательно взять с собой на охоту карандаш.

Вот приедете вы в те места, где такой селезень, такой селезень (миллион!), а вам пастушата и скажут:

— Нема тут, дядя, никакой утки! Поубивали! Уже с месяц, как бахкают!

— Кто бахкает?

— А я знаю?! Какие-то дурные люди: бахкают и курить не дают. Дайте папироску!

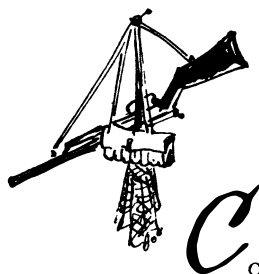
Когда вы это от пастушков услышите, обязательно расспросите, кто «бахкал», кто нарушал закон, берите карандаш и записывайте. Ни одного случая не оставляйте невыясненным.

Все браконьеры и нарушители должны быть привлечены к ответственности.

Наш охотничий долг: охотиться, оберегая дичь, и, охотясь, оберегать ее.

— Ни пера вам, ни пуха, дорогие товарищи по страсти!

1951



Открытие охоты

Собственно говоря, открытие охоты каждый год происходит дважды: первого августа — на птицу, а первого ноября — на зверя; но как-то уже стало традицией, что торжественным, так сказать, праздником у охотников почитается первое открытие, когда после долгого перерыва опять у вас в руках излюбленное ружье и вы снова имеете возможность не только, так сказать, пополнить свои продовольственные ресурсы, не только помочь государству в отношении мясозаготовок, но и получить удовольствие как знаток природы, природофил и спортсмен.

Охота, как вы видите, не какой-нибудь там легкомысленный вздор, не пустячок, а весьма и весьма почтенное дело, особенно для таких граждан, как мы с вами...

* * *

Открытие охоты...

Сколько забот, волнений, пока, наконец, все у тебя в порядке: и ружье, и патроны, и одежда, и рюкзак — одним словом, все, что требуется для серьезной добычливой охоты...

А куда ехать?!

А с кем ехать?!

Куда ехать?

Ну, как вы можете сразу решить, куда ехать, если сегодня вам говорят:

— У Борисполя, на озерах, утки этой самой прямо целые тучи! Поверите ли? Как выплывут, покроют озеро, ну, гуще ряски! Одна другую просто душат! Вот вчера только приезжала одна молодка, так она говорила, что ее свекру кум говорил, что его старуха сама слыхала от свахи, а та видела, когда коноплю мочила, что некуда из-за этой самой утки и стебелька конопляного воткнуть! Поедем, а?!

— Поедем! Только у меня патронов маловато!

— Зачем вам много патронов? Ведь там одним патроном в прошлом году по двадцать четыре утки били. Пять патронов — сто двадцать штук. Сплошной селезень, имейте в виду! Увесистая птичка: больше ста двадцати штук не поднимете!

Назавтра вы услышите:

— Куда на открытие?

— Думаю, в Борисполь.

— В Борисполь? Зачем? Разве по сухому утки плавают?!

— Как по сухому?!

— Да там же все озера повысыхали! Да там всю прошлую весну и лето никто не слыхал, чтоб хоть одна утка закрикала! Ранней весной прилетело было туда немало стай, но покружились немного — и все в Носовку. Слышали про Носовку?!

— Слышал.

— Так там же со всего Левобережья утка еще с весны собралась! Стихийное бедствие: все подсолнухи вытоптали. А на лугах из-за гнезд и трава не выросла: гнездо на гнезде. Траве негде расти. Нет, если ехать, так только в Носовку!

— Ну, поедем в Носовку!

И еще через день:

— Здравствуйте! Готовы к открытию?

— Готов.

— В Яготин?

— Нет, в Носовку!

— Как? За лягушками?

— За какими лягушками?

— Да ведь в Носовке одни лягушки! Если уж ехать, чтоб с утками быть, так только в Яготин! Вот там-то утки.

И т. п. и т. п.

С кем ехать?

Ах, горюшко мое!..

Да разве нет среди охотников таких людей, которые любят тихие вечера над озерами, нежный шелест камыша, в чьих ушах крик выпи на болоте звучит, как козловское распрепианиссимо «ля» для мечтательно-грустной блондинки, в чьих сердцах загадочный тихий плеск на озере отзывается трепетными перебоями.

Однако, когда под вербами или под копною уже все рассказано, на миг возникает тишина. И обязательно эту тишину всколыхнет единодушное, чарующее:

Заря моя вечерняя,
Взойди над водою...

Да разве нет среди этих людей хоть одного, с которым нельзя было бы поехать на открытие охоты?!

...Ну, скажем, поедете вы с Иваном Петровичем.

На зеленом ковре под задумчивой вербой потекут воспоминания о знаменитом его Гордоне — таких собак теперь не бывает! — который однажды стал на стойку на вальдшнепа в густом орешнике, да так стал, что никакими свистками, никакими гудками его невозможно было снять с этой самой стойки, и пришлось его оставить в лесу, так как настала ночь, а затем обстоятельство заставили Ивана Петровича на другой день утром уехать из того города. Возвратился он только через год, вспомнил о собаке, пошел в лес, разыскал кусты.

— Смотрю: стоит скелет моего Гордона, и стоит не просто, а с поднятой лапой! Вот это была собака! Мертвая стойка! Другой такой собаки я в жизни не видывал!

...Ну, а если вы поедете с Петром Ивановичем, то он вам расскажет, что больше любит охотиться на зверя, а птица — это только так, по традиции! Петр Иванович — гончатник... И какая у него есть сука, Флейта, как она гонит! По два месяца, бывало, волка гнала! А поначалу боялась: первый раз как наткнулась на волка, выскочила на просеку «бледная-бледная, как стена»!

— Четырнадцать волков когда-то за мной и Флейтой гналось!

— Ну, Петр Иванович, неужто-таки четырнадцать?!

— Факт! Спросите Флейту! И оба серые!

...Филипп Федорович расскажет вам о близоруком стареньком бухгалтере, страстном охотнике, жертве фантастических выдумок всех участников компании, с которой он всегда охотился.

Вы узнаете о зайце, который после бухгалтерского выстрела со страшным криком «м-мяу» взметнулся на самую верхушку телеграфного столба, а также о том, как перепуганный бухгалтер бросил ружье и, причитая «да воскреснет бог», бежал три километра домой...

— А это, видите ли, я сам напялил на kota заячью шкурку и посадил его возле телеграфного столба, на дороге, по которой должен был идти этот бедняга бухгалтер.— Да и это еще не все,—добавит Филипп Федорович.— Однажды мы прикололи булавкой к убитому зайцу бумажку с надписью: «За что вы меня убили?!» — и посадили этого зайца под кустом и направили на него близорукого бухгалтера. Он—бах! Заяц—кувырк! Подбегает, а там на записке такой заячий упрек. Вот смеху было!

...А разве не посмеялись бы вы над рассказом одного старенького деда о том, как он когда-то, будучи помоложе, не имел ружья, а всегда домой с утками приходил.

— Как же это так?

— А так! Вон там на плесе всегда утки есть. Вот я на островок переплыву да в камышах и спрячусь. Потому знаю, что обязательно кто-нибудь из охотников туда придет по сидячим бить. Вижу, подкрадывается, подкрадывается... Б-бах! А я в камышах как закричу: «Р-рятуйте!»¹. Ну, он сейчас драла,—потому, думает, убил кого или поранил. А я тогда разденусь, уточек пособираю и домой...

...Покатила звезда. Булькнула водяная крыса. Закрякал спросонок селезень. Пискнул камышник. Где-то вдали прогул паровоз...

Вы лежите и улетаете мыслями к коллегам своим, охотящимся по всему земному шару: в Антарктике — на китов, в тайге — на белку и на медведя, в тундре — на песца, в Полярном море — на моржа... Серееет...

— Фить-фить-фить! — прорезал воздух чирок...

Б-бах! Первый выстрел! Охота началась!

¹ Рятуйте — спасайте.



Как варить суп из дикой утки

М. Ф. Рылескому

Был такой знаменитый орнитолог Мензбир, который на основании многолетних наблюдений и научных исследований окончательно установил, что дикие утки, кроме рынка, водятся еще на луговых озерах, и в камышах, и в тихих-тихих заводях изумрудно-чудесной родины нашей...

...Словом, вы едете на луговые озера, к камышам и к тихим-тихим заводям.

Само собой разумеется, что вы берете с собой ружье (это такая штука, которая стреляет), патроны и всяческий прочий инвентарь, без которого невозможно правильно целиться, чтобы бить без промаха, а именно: рюкзак, каравай хлеба, консервы, огурцы, помидоры, десяток яиц вкрутую и стопку. Стопка берется для того, чтобы было чем вычерпывать воду из челнока, если в челноке течь...

Едете вы компанией, то есть коллективом этак человек в пять, ибо дикая утка любит отправляться в суповую кастрюлю в результате коллективного труда...

В вагоне (или на машине) сразу же вы услышите:

— Э, черт! Стопку забыл! Вы взяли?

— Взял.

— Ну, так, если будем вместе, одолжите! А останусь один — придется «из горлышка».

«Горлышком», согласно охотничьей терминологии, называется та часть охотничьей лодки, которая на морских судах носит название «право руля».

Дикая утка любит подстреливаться тихими-тихими вечерами, когда солнце уже скользнуло к закату, миновало кроваво-багряный горизонт, послало вам последний золотой привет и отправилось спать... Это вечером. А утром дикая утка срывается с места искать вашего выстрела рано-рано, только лишь начинает рассветать.

Зовутся эти часы у охотников «зорьками» — вечерней и утренней.

В эти часы вы слышите и над собой, и перед собой, и за собой, и справа, и слева шум-свист утиных крыльев.

Вы сюда — бах, и туда — бах, и оттуда — бах!

Ах, незабываемые минуты!..

К вечерней зорьке вы опоздали. Это обязательно. Опоздание к вечерней зорьке — это охотничий закон. Еще выходя из дому... да что там выходя! — еще накануне вы знаете, что к вечерней зорьке вы не поспеете. Вот из-за этого самого в день отъезда на охоту вы еще с утра все укладываете, еще с утра вы что-то забываете и в час отъезда выбегаете из дому, летите или на вокзал, или к машине, на вопросы знакомых: «Куда?» — бросаете: «Спешу к вечерней зорьке опоздать...» — и галопом дальше.

Словом, опоздали. К озеру вы подходите уже тогда, когда утки «выключили моторы», почистили зубы, совершили на ночь физкультурную зарядку с холодными обтираниями и, положив головы на водяные лилии, улеглись спать...

Но вы не унываете, так как поблизости от каждого лугового озера есть или скирда, или копны пахучего-препахучего сена. Вы идете к скирде и устраиваетесь. Вы разгребаете сено, расстилаете плащ, ложитесь навзничь, глядите на черно-синее глубокое звездное небо и отдыхаете. А отдыхая, думаете...

Ну, думайте себе на здоровье, а мы станем к утренней зорьке готовиться...

— Ну что ж, товарищи, давайте с вечера приготовимся, чтоб утром не возиться и сразу же за ружье и по местам. Где ж это... стопка? Просил же положить!

— Что, нету?

— Нету!

— А я захватил! Я себе за правило взял: когда приезжаю домой, ее привязываю в рюкзаке. По-моему, не так нервничаешь, когда ружье забываешь...

Тут-то и начинается самый интересный момент утиной охоты.

Это когда старые опытные ваши товарищи по охоте начинают рассказывать разные необычайные приключения из охотничьей жизни.

Общая для всех охотничьих рассказов черта — это то, что все в них одни факты, что все вправду было: «Расскажу, так не доверят, но это факт!»

...Швыряется вверх какой-то космический мальчик звездами, оставляя в черно-синей бездне золотые полосы, скрипит

Воз¹, опуская свое дышло вниз, постепенно бледнеет Чумацкий Шлях², а под скирдой плетется чудесное кружево из охотничьих рассказов.

И вольно дышится, и легко дышится...

Понемножку голос рассказчика становится все тише, потом начинает прерываться и совсем замирает.

Сосед как-то тяжело вздыхает.

— О чем вы думаете, Иван Иванович?

— Об Америке! Какая все-таки техника.

— А что такое?

— Говорят, двуствольную стопку выдумали!

И тихо...

Уснули...

«Раннім-рано та ранесенько», еще только начинает сереть, вас толкают в бок:

— Вставайте! Вставайте! Пора уже!

— Г-г-г! М-м-м!

— Вставайте!

— М-м-м!

— Б-б-бах!

С криком «бомбежка!» вы вскакиваете и мчитесь.

— Тьфу на вас! Это я селезня трахнул!

— И промазал.

— Ну ясно, что промажешь, если вас нечистая сила в бомбоубежище поперла! Чуть в озеро не кувыркнулся!

Началась ранняя зорька...

Тут уже все зависит от вашего умения, от мастерства и практики.

Утка, как известно, птица. Она летает...

Как ее стрелять?

Очень просто: цельтесь обязательно в глаз. И бахайте!

Бах! — и в сумку. Бах! — и в сумку.

А если не повезет, то есть если бах-бах! — и мимо сумки, тоже не печальтесь; старайтесь ехать или идти с охоты мимо рынка или, увидев у кого-либо из охотников несколько уток, бросьте ему:

— Рублей, пожалуй, по «надцать» теперь штука...

Потому что все равно, когда вы приедете домой, члены вашего семейства спросят вас:

— Дорогие, верно, нынче утки?

¹ Воз — Большая Медведица.

² Чумацкий Шлях — Млечный Путь.

Но вы не обращайтесь на это внимания и сразу же принимайтесь готовить янтарный суп из дикой утки...

Самое первое и самое главное — ошипать утку.

Делать это лучше всего у себя в кабинете.

Дабы вам не мешали выпщипанные перья, откройте окна и двери, чтоб ветерок был: выпщипнули, ветерок подхватил — и перо вам не мешает... И утка ошипана, и кабинет — перина.

Ошипали и тогда уже к маме, или к жене, или к сестре, кто кем богат:

— Уже ошипал! Мама, сварите суп!

Если жена или мама, ахнув, бросят вам:

— Да это же курица, а не утка! — вы авторитетно заявляйте:

— Это утка. Теперь все такие утки пошли. Яровизированные!

— А почему у нее горло перерезанное?

— Почему? Почему? Все вам нужно знать! Летела, летела, увидела, что прицеливаюсь, выхода у нее не было, взяла и... зарезалась. Что же тут удивительного?! Варите уж, прошу вас!

Остается, таким образом, последнее: есть суп.

Как его есть?

Ложкой.

Поев, ложитесь на кушетку и читайте «Записки охотника» И. С. Тургенева.

Прекрасная книга!

1945



„Ружжо“

В

се, разумеется, сразу в крик:

— «Почему «ружжо», когда правильное — «рушница»?..

А если не хочется, чтобы была «рушница», тогда «ружье», но ни в коем случае не «ружжо»!

«Рушница»? Правильно. По всем словарям — «рушница». Согласен.

И «ружье» — правильно. Согласен. Это по-русски.

А вот мне хочется, чтоб было «ружжо», потому что так называл эту вещь тот дед, который учил меня когда-то из нее стрелять.

Так вот, значит, про ружжо.

Ружжо — это такая штука, из которой стреляют.

Выходит, если нет ружжа, нет и охотника.

Конечно, он есть, но он, так сказать, не настоящий охотник, а яловый, платонический.

Такой охотник ходит грустный и задумчивый, глаза у него печальные-печальные, и при встрече с вами он говорит:

— Эх, если бы мне ружжо! Да еще такое ружжо, какое у меня было. Сколько же я выводков селезня знаю. А чирят! Пускай меня бог побьет, как выплывут... Словно ряски! Лисьих шесть нор обнаружил. По шестеро молоденьких да по две старых в каждой норе. Сорок восемь шкурок висело бы у меня на чердаке. А волчье логово в Кривой балке! А вы и с ружжом, да одного только деркача¹ и подстрелили... Эх! Ружжа нету!

И отойдет от вас шагов на десять, обернется, поглядит на вас еще раз, махнет рукой:

— Нету ружжа!

Вот что такое ружжо для охотника...

Ружжа по своей конструкции бывают двух видов:

1) Шонполка. Кое-кто его неправильно называет шомполка.

2) Центрального боя, или централка.

Шонполка, значит, и централка.

Ну, вы, очевидно, знаете, какая разница между шонполкой и централкой.

Шонполка набивается прямо в люфу (ствол), а централка набивается готовыми патронами, которые закладываются в так называемый набойник (патронник). Ружжо «переламывается», закладываются патроны, потом снова складывается — и все...

Да вы все это, разумеется, знаете, это я говорю для того, что может случиться человек, который отродясь ружжа не видел.

Я, к примеру, встречал человека, который прожил полсотни лет на белом свете и арбуза не видел...

Бывает...

¹ Деркач — коростель.

Какое же ружжо лучше: шонполка или централка?

Этого я вам не берусь сказать, и не просите и не умоляйте.

Если бы мы с вами исписали тут целые кипы бумаги или наговорили тысяч десять кубометров самых что ни на есть ученых слов, доказывая преимущество централки перед шонполкой, все равно найдутся несколько человек, которые сразу же вас огорошат:

— Централка, говорите, лучше? И что вы такое говорите?! А вы видели мою шонполку, которая еще прадеду моему палец оторвала, когда курок отскочил?! Ну, куда, скажите, та ваша пукалка против настоящей, как вот у меня, шонполки? Вы же не видели, как из моей шонполки волк на шестьдесят сажений вперекидку пошел! Видели?!

— Нет, не видел.

— Тогда и не говорите! Централка — она, конечно, тоже ружжо. Ложа — красивая, лакированная, стволы тоже прямые, выделанные стволы... Да... В руки возьмешь, так она действительно вроде настоящее ружжо. А вот как на деле она? Конечно, стреляет, да не так стреляет, как моя шонполка... Вот сказать так: если бы мне крепкую стальную проволоку — немного ее и нужно! — чтоб я крепко ствол к ложу укрепил, как следует, эх, цены бы не было моей шонполке! Еще дед покойный как прикрепили, так и по сей день! Они тогда, ох, и проволоку же достали! У того, как его бишь, — да не дай соврать, да у того, что взял племянницу у нашего графа Капниста. Вот, гляди, и вылетело... Да еще он на серых в яблоках жеребцах ездил... Четвериком! А левая пристяжная, бывало, голову аж до земли, пыль из-под пристяжной столбом-столбом... А кучер сидит да только покрикивает: «Поберегись! Поберегись!» Так вот тогда еще дед покойный укрепили, а теперь оно чуть расшаталось. Стреляет хорошо, только как стрельнешь, так оно будто на дыбы становится... Проволоки бы мне, чтобы укрепить. И немного нужно-то. Не выделяют теперь такой проволоки. Ох, и сильно бьет! Однажды я нацелил чиренка, хорррошо нацелил, как бахнул, а оно мимо правого уха только — дзззззз! — как свистнет, — так куда сильнее, чем паровик. А когда курок вырвало, так он мне мимо уха только — дззз! Тронул рукой — ухо на месте, только с той поры чуть недослышивать стал. Очень сильно ружжо бьет. А вы говорите — централка лучше. Чиренка я тогда не уцелил... Да то ничего, на другой день я подкрался из-за камыша, а он у берега плавал, так я его палкой. Все равно не

убежал. Так вот чтобы после этого я променял свою шонполку на какую-то централку... Да никогда на свет^а.

Нет, не доказывайте преимущества централки перед шонполкой или наоборот...— пустое дело.

* * *

Лично я— за централку.

Почему?

Ну, такой у меня вкус.

Пускай ругают за это шонпольники, пускай измываются надо мной— потерплю, что поделаешь.

Но сказать, что «я за централку» — и только, это все равно что ничего не сказать.

За какую я централку?

За курковку или бескурковку?

Ах, страшно говорить, что я, к примеру, за бескурковку. Уже вижу презрительную усмешку вон у того слушателя или читателя и пренебрежительное:

— За бескурковку?... Почему именно за бескурковку?... Ну, почему за бескурковку? Бескурковка — это все равно что без уха жена. Смотришь на нее — и жена как жена, а чего-то нет. Так и бескурковое ружжо. Держишь его, гладишь его, а зацепиться не за что. Летит утка, а ты не знаешь, взведены ли у тебя курки или нет, передвинул ли ты предохранитель или не передвинул. Дергаешь-дергаешь за собачку, а утка вон уже где. А если перед тобой курки, так тебе видно, взведены ли они или они у тебя не взведены... Щелк-щелк! Дерг-дерг! Бах-бах! И хоть утка все-таки летит, но зато ты выстрелил, и выстрелил своевременно. Нет, бескурковка ни к чему. Только с курками. Дед, умирая, сказал отцу, а отец — мне: «Никогда не покупай бескуркового ружжа. Только с курками».

Ну ладно: с курками так с курками, бескурковка так бескурковка.

Но и это еще далеко не все.

Какой калибр наилучший?

Двенадцатый? Шестнадцатый? Двадцатый?

Я — за двадцатый калибр!

Только никому не говорите, а то сразу же начнется:

— За двадцатый? Двадцатник?! Так лучше уж из бузиновой пукалки стрелять. По крайней мере дешево, а результаты одинаковые. Я понимаю — стрелять так уж стрелять, чтоб

и выстрел был как выстрел, чтобы и площадь обстрела была как площадь. Двенадцатка — это ружжо! Ну, еще шестнадцатка туда-сюда. А двадцатка! Да я ее и за ружжо не считаю!

— И никогда с двадцаткой не охотились?

— Да нет, была у меня лет пятнадцать назад двадцатка, ох, и ружжо было! Правда, било очень громко, но все же как ударишь, где бы дичь ни была, — достанет. Так одно оно и было. Теперь таких ружжов не выделуют. Э, нет, я за двенадцатый калибр. Ружжо серьезное, основательное — не игрушка.

Есть еще один «сорт» ружжа — его любители специально заказывают для себя.

Это так называемая утятница.

Огромный ствол, страшенная ложка, силой набивают ее порохом и дробью, не несут, а везут к озеру, где осенью табунятся дикие утки.

И бахают.

Чтобы стрелять из утятницы, нужно уметь хорошо делать заднее сальто.

Утятница, положим, сама вам сальто сделает, но лучше выстрелить и сразу же самому делать сальто. Будет легче.

— Чего это вас так в три погибели скрючило? — спросил я у одного охотника.

— Э, это уже давно! Лет десять назад! Из утятницы стрельнул! Не разгибаюсь, не разгибаюсь, лет десять уже не разгибаюсь!

Но калибром дело не кончается.

Какой фабрики, какой марки ружжо самое лучшее?

Если бы кто-нибудь из охотников (начинающих) пожелал приобрести себе ружжо, — какую марку ему посоветовать?

Давайте подумаем.

Наши отечественные — тулка, ижевка хороши. Замечательны!

Есть английские: Пердэ, Голланд-голланд.

Французские: Лебо, Франкот.

Немецкие: Зауэр.

Чешские: Новотного (исключительные ружья).

М. Ф. Рыльский сохранил в своей памяти и мне пересказал стихи о ружье Новотного:

Коль ружье бьет на полсотни
Или больше сажений, —
Это значит у Новотны
Сотворен феномен сей.

Так какой же фабрики ружжо вам посоветовать?

Видите, я себе взял за правило в приобретении охотничьего снаряжения никому абсолютно не давать никаких советов.

Могу вас только ознакомить с традиционной тактикой, которой вы должны придерживаться при оценке ружья или любого другого охотничьего снаряжения,— когда спросят или попросят такую оценку дать.

— Видели мое ружжо? — спрашивают вас.

— Нет, не видел!

— Вот, поглядите!

Вы берете ружжо и внимательно его рассматриваете. Обязательно при этом поглядите в стволы на свет, попробуйте курки, взвесите его на руке, прицелитесь из него. Причем прицелитесь несколько раз, быстро и порывисто прикладывая ложу к плечу,— это значит, вы пробуете, прикладисто ли вам это ружжо.

В это время хозяин ружья вам обязательно будет говорить:

— Бьет прекрасно! Знаете, никогда не думал, что на таком расстоянии можно что-либо убить. В прошлом году осенью зайца снял, так все удивлялись. Я стрелял так просто, чтобы напугать, а он намертво. Все потом проверяли, а то никто не верил... Сто девятнадцать метров. Пять дробинок попало, и все навьлет. Такого боя я никогда не видел. Так оно будто и не очень показное, а бьет так уже бьет.

— Какой фабрики? Не разберу я, что тут написано.

— Да я и сам не знаю. Говорил мне один тут мастер, что стволы Голланд-голланд, ложка Лебо, а магазинная часть наша, тульская. Ну, а уж бьет так, что и не говорите.

Вы спокойно замечаете:

— Мне нравится. Симпатичное какое-то оно. Должно быть, хорошо бьет.

Хозяин ружья будет очень доволен вашей «рецензией» на его ружжо.

Потом вас обязательно будут спрашивать про то ружжо другие охотники:

— Видели ружжо у Н.?

— Видел! А вы видели?

— Видел.

— Ну и как? — теперь вы уже спрашиваете.

— По-моему, бревно!

— И по-моему, бревно!

Наконец мы дошли до самой распространенной марки всех наших ружей.

Марка эта — бревно.

Наилучшее ружжо — ваше.

Остальные — бревна.

Это на ваш взгляд.

А на взгляд ваших товарищей-охотников и ваше ружжо попадает в разряд бревен.

Это вам, конечно, больно, но ничего не поделаешь: таков закон.

Итак, покупайте ружжо какой угодно фабрики: для вас оно будет наилучшим, и с таким боем, какого нигде не видели и не слышали.



Приобрели вы ружжо.

Прежде всего его необходимо пристрелять.

Что это значит?

Это значит, что вам нужно подобрать для патронов столько пороху и дроби, чтобы оно как можно лучше било.

Что значит самый лучший бой у ружжа?

Это значит, чтобы оно било быстро, чтобы осыпь дроби была равномерной. И чтоб та летела как можно дальше.

Но это все в теории.

На практике у девяноста процентов наших охотников вы услышите:

— Пристреливать? Э! Что это за ружжо, что его еще и пристреливать надо?! Вот у меня: клади сколько влезет, — как часы. Вот это ружжо!

А тот, у кого шонполка расшаталась и при выстреле дыбом становится, тот твердо себе зарубил:

— Да как же это так можно, чтобы один заряд на все случаи был. А если мне нужно полоснуть по табуну — с полсотни селезней, что же, я в них одинаковым, как и в одного чиренка, зарядом стрелять буду? Да что вы мне рассказываете? Если я уже обнаружил, где сидит такой табунице, так я и заряд соответствующий должен иметь. Я уже насыплю пороху — только держись, да и дроби не пожалею. Чтобы уже бить так бить. Вот если бы проволоки стальной достать, чтобы как следует укрепить. А то без проволоки оно, как стрельнешь, может сильно на дыбы стать. Не выделуют теперь такой проволоки.

Пристрелка ружья не очень популярная штука.

— Вот как удастся гадюку в ствол заманить да потом гадюкой стрелнуть— тогда уже будет бить без промаха. Ох, тогда бьет! Ох, бьет же!

Пристреливая ружжо, да не только пристреливая, а чашенько и непристрелянными патронами стреляя или стреляя из шонполки зарядами по большому табуну селезней, нужно иметь в виду, что вас дома могут спросить:

— Что это у тебя—флюс, что ли? Зубы ведь у тебя не болели?

— Да со вчерашнего вечера коренной правый что-то крутит и крутит, крутит и крутит. Должно быть, флюс.

— А почему же щека вся синяя?

— Разве синяя?

— Как печенка!

— Должно быть, посинела от флюса. Слышал я, зубной врач говорил, что щеки синеют. Еще не совсем выяснено, отчего так.

— А чего же ты левой рукой ложку держишь?

— Правое плечо что-то не того... Шарниры что-то не ходят. Может, ревматизм. Летучий, должно быть.

— Ходите там по болотам. Сидел бы лучше дома.

«Усидишь!..» — думаешь про себя.

Когда спрашивают родичи,— это еще ничего. Значительно хуже, когда вызывают карету «Скорой помощи».

* * *

Говоря о ружье, нельзя не упомянуть о дробі и порохе.

О дробі следует знать, что нельзя стрелять бекасинником медведей, а картечью — бекасов.

Обрубками гвоздиков, нарезанными с помощью зубила и молотка, можно стрелять с одинаковым успехом и волка и вальдшнепа.

— Ваша дробь, лавочная, покупная,— она к моей шонполке не идет. Нежная она очень. А я вот себе гвоздиков нарезал,— эта штука здорово бьет. Летит она, словно чурка, и, если уж зацепит, никому не воскреснуть.

А порох!

Порох всегда надо держать сухим. Так говорит мудрая народная поговорка.

Правильная поговорка, а то мокрый порох не загорается и не взрывается.

Кое-кто из охотников, чтобы быть уверенным, что у него порох действительно сухой, подсушивает его.

Делается это или в печи, после того как хлеб выпечен, или на плите, когда в печке огонь уже погас, а плита еще горячая.

Случается, конечно, что печь разносит, а на плите порох вспыхивает.

Это если какая-нибудь искорка там где-то остается.

Зрелище это очень интересное, оно напоминает фейерверк в Парке культуры и отдыха во время народного гулянья.

Выходит, значит, что вы и дома были и на фейерверке побывали. И дома и замужем.

* * *

Чтобы быть настоящим охотником, нужно хорошо стрелять.

Чтобы хорошо стрелять, нужно учиться и практиковаться.

Где учиться и где практиковаться?

На стрелковом стенде.

На стендах охотники стреляют по небольшим, как вы знаете, хрупким тарелочкам, которые вылетают из блиндажа в неожиданном для вас направлении.

Вылетела тарелочка, а вы:

— Бах!

Вылетела вторая, а вы:

— Бах!

Вылетела третья, четвертая и т. д. и т. д.

Сначала, ясное дело, результаты не совсем для вас радостные, но чем дальше, тем они будут улучшаться, и в конце концов из вас выработается незаурядный стрелок.

Возможно — и даже очень возможно, — что из вас выйдет и заслуженный мастер стрелкового спорта.

Как и всюду, так и тут не боги горшки обжигают.

Нужно только упорно, настойчиво, систематически ходить на стенд и практиковаться.

Не без того, что между вами и вашей женой возникнут такие разговоры:

— Ботинки купил? Давно ведь взял деньги.

— Купил, купил.

— А где же они?

— Оставил в тресте, в столе. Хорошие ботинки. С рантом.

— Не скрипят?

— Нет, тихие, не скрипят. Такие, будто на ноге их совсем нет.

— Это очень хорошо, когда совсем будто нет. Не люблю, когда скрипят.

— Нет, нет, нет — не скрипят. Очень тихие ботинки.

— А как с костюмом? Скоро уже сошьют?

— Вот-от-от уже сошьют.

— Да смотри же, чтоб не очень большие плечи подложили, а то тяжелый пиджак будет.

— Нет, совсем легонький будет. И чувствоваться не будет. Так, словно совсем пиджака нет.

— Я так рада, что тебя уже одели. Теперь еще меня оденешь...

— Оденем и тебя... Еще как оденем... Ты бы мне дала немного денег, я там обнаружил хорошее пальто, задаток нужно было бы дать...

— Хорошо, я дам...

Патроны стоят недешево: для того, чтобы выучиться, тысяч десять патронов, что ни говори, нужно, ну, значит, оденутся оба: будут и ботинки, и костюм, и пальто — все будет.

Но зато уже на охоте можно будет показать класс.

Рассказывали про одного мастера спорта, как он на волчьей облаве отличился.

Волк посмотрел на него, весело подпрыгнул, усмехнулся и гаркнул:

— Это тебе не тарелочка!

Ружжо после каждой охоты нужно чистить.

Хотя есть много скептиков и относительно этого.

— Ни в коем случае чистить ружжа не надо, — говорят они. — Стволы тогда в середине стираются и дробь косо летит.

Может быть.

Я чищу.

* * *

Последнее замечание.

Охотничье ружжо, как и всякое огнестрельное оружие, — вещь опасная, и около него ходить нужно осторожно.

Но самое что ни на есть опаснейшее ружжо — это ружжо незаряженное.

— Ничего, ничего, — берите, берите — оно у меня незаряженное.

Так вот, из незаряженного ружжа больше всего убивают и ранят охотники и себя и своих товарищей.

Имейте это в виду.



Бекас

Б

екас для охотника прежде всего — собака!

Я и мысли не допускаю, что вы такое утверждение воспримете буквально.

Ясное дело, бекас — не собака, а птица, но каждый охотник знает, что охота на бекаса без собаки — это все равно что свадьба без музыки.

Как бы там ни было, если вы хотите говорить о бекасе, надо сначала говорить о собаке, потому что без легавой вы бекаса не то что не отведаете, но даже не увидите.

Если так, поговорим о... бекасе.

Бекас — небольшая болотная птица, серенькая, с беленьким на брюшке пушком, очень подвижная, с очень длинным клювом, длинненькими ногами; срываясь с характерным для него криком, бекас летит как сумасшедший, будто перед тем, как взлететь, выпил по меньшей мере двести граммов: летит зигзагами.

Какой же он вкусный, какой он вкусный, этот бекас! Деликатес!

Имейте в виду, бекас — это одна из немногих птиц, которых жаривают вместе с потрохами: клювик под крылышко, капельку масла — и в печь!

Редкий сорт дичи.

Если прибавить к этому сметанки да еще, не дай бог, чего-нибудь этакого, получится, доложу вам, такая симфония, что... Словом, давайте немедленно же отправимся на бекаса!

Но, повторяю, бекас без собаки и не деликатес, и не симфония, вообще без собаки бекас не существует.

В таком случае, давайте поговорим о собаках.

Что такое собака, вы все хорошо знаете: голова, четыре ноги, хвост и лает.

Теперь немного подробнее о породах охотничьих собак и, поскольку речь идет об охоте на бекаса, значит, о легавых собаках.

Вот какие породы бывают:

А. Лавераки.

Б. Гордоны.

В. Грифоны.

Г. Ирландские сеттера.

Д. Пойнтеры.

Е. Континентальные легавые.

Ж. Спаниели.

З. Пудель. Теперь эта порода везде переродилась — превратилась в «кунделя».

Какая же порода лучше?

Та, с которой вы ходите на охоту.

Стоит вам приобрести, к примеру, лаверака, так сразу же окажется, что такого ни у кого никогда не было и не будет.

— Какая собака! Не собака, а Эдиссон! Факт. Вы только послушайте, что я вам расскажу. Однажды мы охотились...

И пошло... и пошло...

Хотите слушайте, хотите не слушайте, но в самом деле такой собаки никогда не было и не будет.

Какой же породы собаку посоветовать вам?

Такой, какую вы уже приобрели или собираетесь приобрести.

Начинающий охотник, над которым еще не тяготеют охотничьи традиции, купив ружье, начинает искать собаку.

Теща его, как всегда великодушная старушка, узнав о желании зятя, ласково и приветливо (как и всегда тещи) говорит, сильно акцентируя на шипящих и свистящих согласных:

— Сссеттера надо купить. Шшшикарная сссобака у Акулины Кузьминишшшны. Как она ссстойки делает! А главное, акккуратная, чистюля! Я попрошу Акулину Кузьминишшшну. У нее ссскоро щщщенки будут. Есссли, к счастью, не поиздыхают. Очень породистые щщщенки!

Месяц или два спустя вам принесут от Акулины Кузьминишшны шшшикарного сеттера.

Как вы рады! Ведь это первая в вашей жизни охотничья собака! Ваша! Собственная!

Вы ее нежите, ласкаете, присматриваете за ней, как за ребенком, как за самым дорогим для вас созданием.

Купили вы для своего сеттера ошейник, поводок и через некоторое время ведете его в охотничий клуб, в собачью секцию, на экспертизу.

Показываете суровому дяде и так на него смотрите, как в детстве смотрели на отца, когда он, суровый и озабоченный, бывало, ласково посмотрит на вас, да еще и приголубит.

— Ну?! — спрашиваете. — Песик? Правда, хороший и чистокровный? А?

Суровый дядя смотрит на песика долго и внимательно, потом вскидывает свои глаза на вас и равнодушно роняет:

— Кундель!

— А мне сказали — сеттер!

— Значит, сеттер-кундель, — бросает дядя.

— А как же с ним дальше быть? — спрашиваете вы, трепеща.

— Что ж дальше? На этом поводке не стоит вешать, хороший поводок. Повесьте на простой бечевке. Ни у его папы, ни у его мамы в крови сеттер даже не ночевал! Кундель!

После этого дома у вас с тещей происходит острый короткий диалог. Затем теща резюмирует:

— Акулина Кузьминишна женщина не такая, она уже на седьмом году приобщилась и исповедалась. Никогда я не думала, никогда не гадала, что моя Люда (Люда, значит, ваша супруга) могла так ошибиться в выборе друга жизни, а она ведь у меня одна, и куда теперь я денусь, и кто теперь будет ей (и не только ей) печь мои знаменитые пончики. Неблагодарные пошли нынче молодые люди. Если мать рекомендует собаку, следует все-таки помнить, что рекомендует собаку мать. Потому что я мать не только Люде, я теперь мать и вам. Не может эта собака быть не сеттером, а кунделем! От кунделя слышу! Люда, дай мне понюхать!

Самые большие затруднения у начинающего охотника с первой собакой.

В дальнейшем уже будет легче!

Когда же вы познакомитесь и с охотниками, и с их собаками, когда вы уже будете знать, что был на свете знаменитый Камбиз — черный пойнтер, и знаменитая Али — лаверак, и знаменитый Джой — гордон, — тогда вы сможете приобрести такого щенка, какой вам больше всего нравится.

Если вам больше всего нравятся пойнтеры, вам скажут:

— У Василия Иваныча есть сука — пойнтер камбизовских кровей. Сам Камбиз I однажды перепрыгнул через нее, когда она вылезала из вагона на станции Борисполь.

И вот вы приобрели чудесного, к примеру, пойнтеренка. Как назвать его?

Конечно, Джек, или Джой, или Стэк!

Никогда в жизни не называйте его Бровком, или Цяцей (если это — сучка), или Терном. Боже вас сохрани: такое имя может навеки испортить таланты собаке, пусть она даже божественная.

Привели, или принесли, или привезли вы, следовательно, песика домой.

— Правда, славный песик? — спрашиваете домашних.

Ваша теща, поглядев на вас и на песика прищуренными глазами, уйдет в свою комнату, не проговорив ни единого слова.

Жена ваша, Люда, сначала посмотрит на маму, которая в то же время приходится вам тещей, погладит песика по головке и скажет:

— Хороший песик. А чумка у него скоро будет?

— Пожалуй, скоро, — отвечаете вы.

— Хоть бы поскорее! Говорят, что если собака перечумует, так тогда уже не издохнет.

— Да, тогда уже не так скоро издохнет.

— А от чумки может издохнуть?

— Может.

— Ах, скорее бы чумка!

— Где же мы его пристроим? — ласково спрашиваете вы.

И тут слышится из соседней комнаты голос тещи, которая советует, нажимая на шипящие и свистящие согласные:

— Двухспальную кровать ему поставить, что ли? А может быть, отдельный диван?

— Мама, — успокаивает жена, — зачем вы волнуетесь? Ведь скоро чумка будет!

Начинается воспитание охотничьей собаки, воспитание, от которого зависит все: и добычливость вашей охоты, и вся красота и наслаждение от охоты с охотничьей собакой высоких кровей.

На другой день, после того как у вас поселился симпатичный чистопородный песик, начинается дискуссия на тему:

— Кто вытирать будет?

— Я тут ни при чем,—бросает теща.

— Я сегодня уже пять раз вытирала, а чумки все еще нет,—заявляет жена.

— Я сам буду убирать,—решительно говорите вы.— А где наши тряпки? Всегда тряпки были, а теперь ни одной.

Итак, убираете вы...

Вот вытерли вы уже совсем поздно, укладываясь спать, уложили и Джека на его место, легли.

Джек грустит о маме, о братиках и сестричках и жалобно-жалобно скулит.

Ваша теща, выходя из своего укрытия, шуршит ночными туфлями, подходит к песику и ласково успокаивает его:

— Молчи, молчи, чтоб ты издох ему на радость!

В этот момент вы кашляете и роняете:

— Джеконька, спи, голубочек!

И опять тещин голос:

— Спи, щенок, спи, миленький! Засни навеки, славная наша собачка.

Уснул Джек, уснула теща, уснула жена, засыпаете и вы...

И, засыпая, слышите, как жена во сне умоляет:

— Чумка! Чумка! Чумочка! Скорее! Скорее! Скорее!

Вот так и растет у вас ваш любимый чистопородный Джек.

Он растет, а вы вытираете.

Вытираете и водите Джека на прогулку.

Прогулка с крохотным чистопородным песиком, если вам приходится пять-шесть раз на день спускаться с ним с пятого-шестого этажа, это очень приятное спортивно-гимнастическое занятие.

Тут же вы принимаетесь и за обучение Джека, добываясь, чтобы он усвоил разные охотничьи штуки: идти за ногой, приносить дичь, искать какой-нибудь предмет...

Особенно приятно учить собачку находить ваши ночные туфли.

Песик чистой породы за два-три дня постигнет эту науку, а спустя две-три недели возле вашей кровати будут лежать уже все ночные туфли вашей семьи, всех ваших соседей, вообще, всех, кто живет с вами в коммунальной квартире.

Наступает веселое время, когда у вашего песика начинают прорезываться зубки.

В одно прекрасное утро вы просыпаетесь оттого, что песик сильно скулит, а жена Люда сильно кричит:

— Модельные! Боже мой, единственные модельные туфли!

— В чем дело? — недоумеваете вы.

— Съел мои модельные туфли!

— Кто съел модельные туфли?

— Ваш Джек съел модельные туфли.

Недели две жена обращается к вам на «вы»...

А еще через некоторое время с вашей уважаемой тещей у вас прекращаются сношения и на «ты» и на «вы», потому что от ее любимых ночных шлепанцев остались только две недогрызенные стельки.

Но все это пустяки. Все равно вы любите Джека, он уже носит поноску, ищет вещи, и вы сами уже видели, как он сделал первую стойку и погнался за пестрой курицей вашей соседки...

Вы еще и «пиль» не сказали ему, а во рту у него уже весь курицын хвост, в то время как сама курица сидит на сарае и отчаянно спрашивает:

— Куда-куда-куда? Куда-куда-куда?!

Случается, что вы приходите домой и с вами не хочет разговаривать даже ваш любимец — сынишка Юра.

— В чем дело? — удивляетесь вы.

Молчание. Напряженная тишина. Только все семейство как-то особенно сурово дышит.

— Юрочка, что случилось?

— Джек восемь котлет сожрал.

А перед Новым годом такая ситуация в семье:

— От индюка только архиерейский носик остался.

— С шейки, значит, начинал, — размышляете вы вслух.

Да и что другое можно сказать?

Так идут дни за днями, наступает годовщина со дня рождения вашего хорошего песика.

Пришло время, когда хорошо было бы отдать песика в науку опытному егерю.

Егерь — это человек, который обучает чистопородных охотничьих собак. И сделает он из вашего Джека единственным в мире.

Только вы с егерем сами свяжитесь.

Одно могу сказать: пока ваша собачка у егеря, вы ходите в старом костюме и старых башмаках, а ваша жена не в состоянии приобрести себе модельные туфли.

И вы на собственном опыте убеждаетесь, сколько стоит килограмм овсяной крупы или пшена. Но самое удивительное в том, что ваш Джек за месяц может съесть по меньшей мере четверку лошадей.

Наконец он готов, ваш Джек!

Первая ваша охота с ним на бекаса.

— Стойка!

— Пиль!

Джек бросается вперед, и из-под него выскакивает преогромнейшая жаба.

Возвратившись с охоты, вы рассказываете приятелям:

— Посылаю Джека: «Сбегай, поищи, нет ли бекасов в том болоте?» Джек побежал, заметался сюда-туда по болоту, бегал, нюхал, вдруг прибегает, высунув язык. «Что, спрашиваю, нет?» — «Нет», — говорит...

А бекасов, товарищи, надо зажаривать, не разрезая их, а просто с потрохами.

Ах, какая это вкусная, благородная, нежная дичь!

1945



Вальдшнеп

— М ожет, съездим на вальдшнепов? — спросил я своего верного товарища по охоте. — Оно хоть и не время, поздновато, вальдшнепы уже на север потянули, да, может, застрял хоть какой... Да и Ральфа надо проверить, не забыл ли за зиму, как делать стойку... Поедем, проветримся малость.

— Нет, не поеду! Не признаю я весенней охоты! И тебе не советую, я враг охоты весной!

— С чего бы? Весной в лесу так прекрасно!

— Вот потому что прекрасно—я и враг!

И задумался, глубоко задумался мой верный товарищ, а потом спросил:

— Ты молодым был когда-нибудь?

— Кажется,—говорю,—был! Ну и что?

— Было мне,—начал он,—когда-то давно восемнадцать лет. Были у меня тогда глаза как сливы, кудри как песня. И была тогда весна. А Галя, что жила за садом по ту сторону левады¹, та Галя, верь мне, была краше весны. Такой фигуры, таких глаз, такой косы, такого голоса и такого взгляда, клянусь тебе, не было больше ни у кого на свете. Мои глаза, мои кудри и все, что билось и пылало у меня в груди, было для Гали, а Галин взгляд был только для меня.

— В субботу вечером, как только отец с матерью заснут, приду,—сказал я Гале.

— Буду ждать... в овине...—зардевшись, сказала Галя. Настала суббота.

Но как же долго в ту субботу не приходил вечер. А у меня с самого утра рвалось из сердца:

Когда б уже вечер
Да повечерело...

И долго же батюшка в ту субботу служил вечерню, долго потом возился отец во дворе, и мать толклась, толклась... И почему, скажи на милость, в такие субботы часы не рысачками скачут, а на волах тянутся, да еще на таких ленивых, что все батоги об них, проклятых, обломал бы? Но вот наконец родители улеглись и заснули. Какую же я в тот вечер сорочку надел, как же я свои кудри расчесал, как сапоги начистил! А суконная чумарка! Перекинул я ее через плечо, легкую, как перышко! И пошел. Нет, вру, не пошел—полетел. За садом... А был тогда этот сад хозяйским... Был он липами весь обсажен. Огромными липами... и был тогда май... Листья на липах едва распустились и тихо шелестели... месяц рассыпал ковшами свое золото на их ветви... Цвела сирень... Цвели ландыши... А соловьи, соловьи... Что-то немыслимое... Особенно один врезался мне в память. Он не пел, он рыдал над своей любимой, которая

¹ Окопанное или огороженное место для сенокоса вблизи усадьбы.

неподалеку от него, где-то в кустах, прикрыла своим теплым тельцем шоколадного цвета яички. Он молил:

Люби! Люби! Люби!
Целуй! Целуй! Целуй!

Остановится на минутку и снова: «Люби! Люби! Люби!»

И каждое его «люби!», каждое его «целуй!», вылетев из жаркой соловьиной груди, смешивалось с ароматами сирени и ландышей и пахучим венком венчало его любимую, что грела под кустом будущих соловьяток своих.

Шел я, помню, через леваду... Узенькая-узенькая дорожка тянулась вдоль ручья... Ручеек играет с камешками: подбегит, плеснет на камешек, брызнет смехом и помчится дальше. А над левадой будто нежные шатры из золотой кисеи повисли, огромные шатры—от зеленой травы до самого неба и такие ясные, чистые, как Галины глаза...

А дальше вербы стоят, не шелохнутся—думу думают. За вербами Галин огород, а с огорода во двор перелаз. Вот я у перелаз. Стою. Сердце тук-тук-тук...

...И вдруг кто-то как тукнет меня колотушкой меж лопаток, я только—ой!

— К Гале, чертов хлопец? Я покажу тебе Галю!

От перелаз к леваде я мчался, кажется, быстрее, чем к перелазу.

На леваде свалился в траву и рвал ее зубами.

Я плакал. Плакал не от боли—нет! Я плакал потому, что не увидел Галю.

Давно это было...

Но и теперь, когда порой уговорят меня поехать на весеннюю охоту и стою я где-нибудь над озером и вижу, как на утиный крик, крик, в котором и желание и призыв,—какой там призыв—мольба!—как на такой крик мчит зачарованный селезень и камнем падает в воду,—прекрасный, как сказка, в своем весеннем уборе, раскрашенный всеми цветами радуги,—я замираю. Таким мчался я по леваде к Гале...

И когда я поднимаю ружье и беру его на мушку, я не селезня вижу на озере, я вижу себя на перелазе и... опускаю ружье! Нет, друг мой, весной я не охочусь. Я люблю охотиться осенью. И на утку, и на вальдшнепа, и на все...

...Вальдшнеп, или лесной кулик,—благородная птица, немного меньше голубя, темно-рыжевато-голубого цвета, с длинным, как

у всех куликов, кловом и длинными ногами. Птица эта, как уже сказано, лесная, у нас—на Украине—она не размножается, а только перелетает,—весной, когда путешествует на север, к месту своего гнездования, и осенью, когда возвращается в теплые страны.

Тогда в кустарниках, и особенно на опушке леса, появляются у нас на Украине вальдшнепы и поодиночке, и целыми выводками. Вот тогда на них и охотятся.

Охотятся с легавыми собаками и на «тяге»...

Тяга—это та самая вещь, о которой Иван Сергеевич Тургенев сказал:

«Вы знаете, что значит стоять на тяге?»

Итак, на тяге можно стоять.

Но стоять, как вы знаете, можно и на улице, и в комнате можно стоять, и на стуле, и на столе мы иногда стоим.

Однако тяга не похожа ни на улицу, ни на стулья, ни на комнату.

Тяга—это совсем наоборот.

Тяга—это когда весной или осенью вальдшнеп перелетает, «тянется» с одного места к другому. Утром и вечером.

Бывает это чаще всего над балочкой, когда, к примеру, в вечерних сумерках мелькает над деревьями с характерным хрюканьем силуэт вальдшнепа.

И вы его стреляете.

Вы идете на тягу заранее, чтоб выбрать до сумерек место, осмотреться, примериться.

Осень...

Лес стоит задумчивый, печальный: ему вот-вот надо сбросить свое пышное убранство, подставить свои ветви холодным дождям и снежным метелям.

Листья от грусти желтеют, а некоторые от тоски наливаются кровью.

Вот падает кленовый лист, умер он, оторвался от родной веточки и падает.

Он не падает стремглав на землю,—нет.

Ему так не хочется уходить на вечный покой, лежать и тлеть среди своих замерзших братьев...

Он кружит над поляной, то поднимаясь вверх, то опускаясь ближе к земле.

Ах, как ему не хочется тлеть!

Последним конвульсивным движением он пытается еще раз взлететь—к свету, к солнцу, что так ласкало его, так нежило...

Но нет уже сил у кленового листа, нет уже жизни в нем, и падает он на землю, и затихает...

Весной вместо него молодой лист появится, зеленый: он с ветром будет шептаться, будет ловить своими жилками солнечные лучи, будет под дождем купаться, росой умываться...

Чтоб после умереть...

Старое отживает, новое рождается.

— Хор! Хор! Хор! — слышатся позывные вальдшнепа. Б-б-бах!

— Ну, что? — кричит вам с другого конца балки приятель. — Пудель?

— Пудель! — отвечаете вы.

— Я так и знал! — иронизирует приятель.

А вы между тем думаете:

«Слава богу, что пудель! Пускай живет себе пташка!»

С собакой тоже очень интересно охотиться на вальдшнепа.

С хорошей собакой, конечно.

Стойка... Пиль! Бббах! и т. д. и т. д.

Но мне кажется, что не так интересно охотиться на вальдшнепа с собакой, как об этом рассказывать:

— Ральф мой... Не успел я вылезть из трамвая в Святошино, смотрю, а он уже потянул. Я за ним. Тянет, тянет, тянет... Я за ним... Уже и Ирпень прошли, а он тянет... Смотрю, уже вот-вот Коростень, а он тянет...

— Послушай, — перебивает один из гостей, — давай выпьем да закусим, а тогда уже пускай он дальше тянет...

1945



Дикая роза

Ю. В. Шумскому

Б

лагородное животное — дикая коза.

Благородна она и осанкой своей, когда, стройная, нежная, стоит в орешнике или на зеленой, цветущей, ароматной поляне нашего прекрасного леса или когда, спустившись к Суле, Росе, Горине, грациозно наклонясь, пьет студеную воду.

Благородна и в стремительном полете-вихре, когда не бежит испуганная, а как бы плывет над кустарником или среди дубовых и ясеневых стволов.

Но еще благороднее она тем, что с ее помощью, благодаря ей, можно обнаружить весьма несимпатичную человечью породу,—как раз тут самую, которая позорит почетное звание охотника и именуется браконьером.

Браконьер—это, если хотите, только внешне человек. У него тоже, начиная снизу, есть две ноги, живот, грудь, две руки, горло, буркалы, голова и на ней—картуз или шляпа.

В буркалах (у людей они называются глазами) не заметишь ни радости, ни печали, одна только хитрость. Глаза у людей смотрят, а буркалы браконьеровы только бегают.

Сердца у него нет. Вместо сердца—мешочек с мышцами. Этот мешочек приспособлен для того, чтобы кололиться, если кто-нибудь закричит: «Тю-тю!»

Таков браконьер.

Так вот, повторяем еще раз, что дикая коза помогает обнаруживать браконьера-выродка среди людей, хотя и жертвует за это своей жизнью.

Охота на дикую козу запрещена. Лишь с особого разрешения можно отстреливать в указанное время самцов. Но ведь браконьеру закон не писан, он идет в лес и губит козлов, коз да и маленьких козлят.

Никогда не видели мы подлого браконьера в такой момент, не представляем себе, как он хлопает своими буркалами, когда козочка, умирая, глядит на него печальными, полными слез глазами...

Как жаль, что это благородное животное не может плюнуть прямо в звериные браконьеровы буркалы...

Браконьер—хитрая бестия.

Юрий Васильевич Шумский—чудесный артист, великолепный охотник. Кое-кто, правда, твердит, что он больше охотник, чем артист; другие, напротив, убеждены, что он гораздо лучше именно как артист... Мы же придерживаемся того мнения, что ежели он такой же охотник, как и артист, то это в самом деле превосходный охотник.

И вот Юрий Васильевич рассказал нам про такой случай.

— Зашел,—говорит,—ко мне земляк однажды и просит: приезжайте, непременно приезжайте к нам в Звонковое

поохотиться. А то вы все почему-то в степях Украины охотитесь¹.

Собравшись компанией, мы и поехали. Словом, поехали со мной,—говорит Юрий Васильевич,—и Галушка, и Платон Кречет, и звонарь Квазимодо из собора Парижской богоматери. Прибыли в Звонковое, остановились у земляка, закусили и—в лес! Тут неподалеку как громыхнет: «Бабах!». Мы—на выстрел. Глядим, а на поляне кто-то подле убитой дикой козы копошится. Я как крикну:

— Сто-ой!

Ну, вы же понимаете сами, что творится с браконьером, когда он «сто-ой!» услышит. Для него оно то же, что хлыст для рысака. Схватил он козу и—наутек. Мы за ним. Все четверо. Галушка и Квазимодо поотстали, зато я и Кречет прямо на пяты наступаем. Прибежали в село и заметили, в какую хату вскочил браконьер. И мы туда же, через каких-нибудь три минуты после него.

— Где коза?—спрашиваем.

— Какая коза?

— Дикая! Которую ты только сейчас застрелил.

— Но я и в лесу-то не был.

Жена браконьера у колыбели стоит, наклонившись, ребенка кормит. Вдруг отозвалась:

— Люди добрые, он даже из хаты не выходил.

Ищем козу и в печи и на печи, под полом и в комодке, в помойнице и в кадке, в сенях и в кладовке—нет!

В амбар заглянули, в хлев, в свинарник, да и под свинарник,—нет!

Тут Галушка со звонарем Квазимодо прибежали, уже все четверо шарим по всем углам и закоулкам. Всюду побывали, где можно и где нельзя,—нет!

Вошли в хату, передохнули и опять к хозяину:

— Где коза?

Он говорит:

— Что вы ко мне пристали? Не был я в лесу и никакой козы не убивал.

Я к нему уже с подходом:

— Слушай,—говорю,—человек добрый. Мы же своими глазами видели, что ты козу убил, ты с ней домой побежал и в хату ее внес. Скажи, где она?

¹ «Приезжайте в Звонковое», «В степях Украины»—пьесы А. Корнейчука.

— Ошиблись вы! То, может, сосед, а не я. Я дома сидел.

— Не сосед,—говорю,—а ты!

Тут, знаете, и злость у меня не прошла, и любопытство разбирает: куда он козу спрятал? Ведь всюду шарили и ничего не нашли.

Я и говорю ему:

— Послушай, дядя! Даю слово, что никому не скажем и ничего не будет, даже козу оставим тебе, только скажи, где ты ее спрятал так, что найти невозможно? Где?

Он долго думал, а затем и говорит:

— И ничего не будет?

— Ничего. Слово даю!

Он—жене:

— Покажи-ка!

Она посторонилась:

— Вот коза! Это ж я ее грудью кормлю!

Подходим. И впрямь: лежит в колыбельке небольшая дикая коза. Это над ней в такой, выражающей нежность и заботу, позе столько времени простояла жена браконьера.

Вот какие они, браконьеры-то! — закончил свой рассказ Юрий Васильевич Шумский.

И хитрющая и вредная бестия—браконьер!

Но ведь и с ним можно бороться.

Однажды, возвращаясь с охоты, зашел я по пути к старому знакомому Максиму Тудыпрыгни, чтоб отдохнуть и молочка попить.

Давненько, без малого пять лет, не виделись мы с Максимом.

В хату вошел, смотрю—одна жена Максимова.

— Здравствуйте,—говорю.

— Здравствуйте! Давненько вас не слышать!

— Некогда было,—говорю.—А Максим-то где?

— Скотину в загоне кормит. Сейчас войдет.

Спрашиваю:

— Нельзя ли у вас молочка попить?

— Молочка? Э, не подоили еще бычка,—отвечает Максимиха.

Сильно я удивился: такая обычно приветливая, и вдруг—от ворот поворот.

Она уже серьезно:

— Нет молочка, корову коза съела!

— Как?

— Да так...—говорит.

Тут и Максим-появился. Поздоровались. Я и говорю:

— Давненько не видались мы с вами, Максим. Меня-то работа не отпускала, а вы же бываете в городе, почему не зашли? Раньше-то навещали...

Жена от печки:

— За козой охотился!

Сижу, ничего не понимая.

Максим только рукой махнул:

— Э!

— Да что такое?—спрашиваю.—Расскажите, Максим!

Он еще раз махнул рукой:

— Три года охотился за той дикой козой.

— Три года? Да как же это три года?

— А так...

— С ружьем?

— С каким там ружьем...

— А с чем?

— С изоляцией!

И вот какую историю поведал мне Максим.

— Пошел с ружьем я в лес. Может, где зайца подниму,—думаю. Выхожу на поляну, глядь, а передо мной, не дальше, чем вон та кладовая, две козы. Стоят смотрят. И дернуло же меня! Не выдержал, прицелился и—бабах!

Одну—наповал! Вторая—наутек... Бегу за ней, света божьего не видя. Настиг! Снял ремень с себя, чтоб ноги ей связать. Сам весь дрожу. И ничего не вижу, ничего не слышу... Вдруг кто-то как трахнет меня по затылку! Я своим лбом в козлий—хрясь! Аж искры из глаз посыпались. Очнулся, а передо мной лесничий. Дальше уж все само собой пошло: суд и три года с изоляцией!

— С изоляцией, да еще и без коровы,—с горечью добавила от себя Максимиха.—Потому что его три года носило за той козой, а мне и корову продать довелось. Охотник!

— И ружья нет?—спрашиваю.

— На беду я с тем ружьем спарился. Если и пойду нынче козу искать, то лишь с женой на Житный базар!

«Одного браконьера проучили»,—подумал я.

А ведь и всех-то браконьеров проучить можно, надо только как следует взяться за это дело.

На дикую козу всего чаще с загонщиками охотятся. Одним словом—облавой.

Делают это с разрешения соответствующей организации, как только начинается отстрел козлов-самцов.

Вся трудность такой охоты заключается в том, что надо же с умом стрелять, чтобы не ошибиться и не бабахнуть вместо козла самку-козу.

— А как же ты в такой момент разберешь, что и к чему? Она ж не ползет мимо тебя, а летит, расстилается и на мушке только мелькнет. Попробуй сообразить: коза или козел. Да ведь те охотники просто брешут, которые говорят, что я, мол, никогда не ошибаюсь,— сказал мне как-то с грустью старый уже и опытный, в общем, прекрасный охотник.— Конечно же, бывают конфузы, когда вместо козла посмотрит на тебя печальными глазами козочка... Очень это неприятное, да еще и уголовное дело!

На наш взгляд, есть единственный способ избежать в таких случаях ошибки, не спутать козла с козой.

Заметив, что в кустах что-то зашуршало, немедленно вынимайте кусочек хлеба и, протягивая его, зовите:

— Киз-киз-киз!

Конечно же, она остановится.

Тогда вы сразу:

— Коза ты или козел?

Она вам тут же:

— Коза, коза! Козел вон позади! Глянь-ка!

Тут уж ворон ловить нельзя. Разговор с козой должен быть телеграфно-лаконичным, иначе козла прозеваешь.

Случается, что козел, отозвавшись на ваше «киз-киз-киз», остановится перед вами и, хитря, пробасит: «Я коза-а-а!»

Действуя быстро, вы успеете заметить у него рожки и бороду, особенно если он не брит. Но вообще-то бывают козлы и без бород, и без рожек. Тогда смотрите на то, что к вам поближе.

И бабахайте!

Козла убить—просто событие в жизни охотника.

Случалось, что и я убивал.

— Приходите завтра ко мне,—пригласил меня как-то хороший знакомый, старый охотник.— На дикого козла будем охотиться. Есть разрешение.

Зарядил ружье четырьмя пулями, зашел к нему. А он говорит:

— Ружье пока что разрядить надо. Повесьте и идите сюда. Посидим, поговорим!

Не вдаваясь в подробности, признаюсь, что чуть ли не до ручки добил я тогда преогромнейшее блюдо козлятины. До чего же вкусная дичь! Хозяйка уже аж морщится, а я все: «бабах! бабах!»

Благородное животное—дикая коза!

И когда посреди леса стоит, и когда летит-расстилается, и когда браконьеров выводит на чистую воду.

Благородна она и на блюде!

1946



Дикий кабан, или Вепрь

Почему это, когда говорят «дикий кабан», так не страшно, а скажут «вепрь»—сразу же мурашки забегают по спине и волосы на голове начинают шевелиться?

Как видно, само слово «вепрь»—страшное такое, клыкастое и угрожающе хрюкает...

— Вепрь!..

На Полтавщине, неподалеку от славного города Гадяча, есть село Веприк,—хоть оно, конечно, и не взрослый Вепрь, а только маленький еще Веприк, но мне думается, что колхозникам там, вероятно, всегда страшно,—а ну как возьмет этот маленький Веприк и вырастет в большого Вепря, что тогда?

Самый опасный дикий кабан—это бобыль, убежденный кнур-индивидуалист, который пристает к табуну только тогда, когда свиньи свадьбу справляют.

Он тогда своими страшными клыками разгоняет молодых кнуров, а его повязывают рушниками, и он сидит, хрюкает и чавкает, как когда-то пан-помещик на свадьбе у крепостных, и ему точно так, как когда-то пану-помещику, принадлежит право «первой ночи».

Дикие кнуры-бобыли, что зовутся за свои огромные клыки секачами, выкармливаются так, что становятся настоящими страшилищами, сильными и лютыми.

Собак они своими клыками одним ударом секут на бефстроганов, а охотник, как только увидит секача, сразу же берет на мушку... дуб или грушу и сидит там тихо, как горлица.

А потом уже всем рассказывает после четвертой стопки:

— Секача вчера стрелял! Иду, знаете, в камыше, вдруг слышу, что-то сопит! Смотрю, а оно как гора! Я сначала подумал, что паровоз обтекаемой формы сошел с рельсов и катит по болоту. Присматриваюсь—секач! Я, конечно, не растерялся,—в левом стволе у меня—жакан, я его в лоб как трахну! Пуля—дзынь, отскочила и около меня—шлеп! Даже сплющилась. Он только головой встряхнул и на меня. Я не растерялся... А когда я терялся? Скажите по-честному... Да... Так вот, я, значит, сразу схватил финку и—к нему! Замахнулся, а он мне и говорит: «Слезай, дядя, с дуба, зачем ты туда залез?..» Да... Я, конечно...

— Постой, постой! Что ты мелешь? Кто говорит? С какого дуба?

— Да не перебивай! Я к нему с финкой, ударил его под левую лопатку, как раз против сердца. «Ага, кричу, попался! Попался, кричу, вепппприще!» Не из таких я, чтоб секача испугаться! Да на него—верхом! Сел верхом и держусь за ветку! А он опять ко мне. «Да слезай, говорит, дядя, кабан к Филипповой балке побег!» А я ему: «Слезать, говоришь? Нет, не слезу, пока не покончу тут с тобой».

Тут уж подходит хозяйка дома.

«Может быть, вы Стратон Стратилатович, говорит, приляжете да поспите?»

«Не слезу!»—кричит Стратон Стратилатович.

Потом уже берут Стратона Стратилатовича под мышки и укладывают на диван.

А он еще и на диване добивает секача.

«Не слезу, говорит, пока не прикончу!»

Так до сих пор никто и не знает, удалось ли Стратону Стратилатовичу слезть с этого свирепого вепря-секача, или он до сих пор держится за ветку...

Секач—страшный зверь, так что и после четвертой стопки, пожалуй, не слезешь...

Но почему мы все время говорим о вепре-бобыле, о секаче?

Да потому, что мы, охотники, люди храбрые, и уж если идем на дикого кабана, то идем на такого, чтоб после можно было кое-чем и похвастаться и кое-что показать...

Представьте себе на стене вашего кабинета голову секача со страшными зубищами-клыками.

Слава не только вам, но и всему вашему роду-племени.

Ясное дело, охотясь на секача, можно попутно с десятком других кабанов или свиней убить, которые помельче... Но главная ваша цель—секач!

Поросят не трогайте.

Убить поросенка, у которого еще и зубки не прорезались,—это все равно что подстрелить на озере утенка.

Это срам для настоящего охотника.

Секач, несмотря на свой вес и короткие ноги, очень быстро бегаёт.

Один охотник—очень опытный—рассказывал мне, как секач бегаёт.

Кузьмой Демьяновичем зовут моего приятеля.

— Охотились мы компанией в Бабьей балке,—начал Кузьма Демьянович.—А Бабья балка с той стороны подходит к глубокому-глубокому оврагу... Вдоль балки—лес. За оврагом начинается болото, поросшее камышом, дальше—речка. Охотились мы на зайцев, лисичек,—одним словом, на все, что попадается. Был с нами и местный дедок-охотник. Прошли мы балку, приблизились к оврагу, сели на пригорке, закурили, отдыхаем. Краса какая, куда ни посмотришь! Камыши, между ними кое-где озера, а за камышами—серебристо-голубая лента реки... По ту сторону речки—лесок... Около лесочка—хуторок из трех хат... На взгорье возле хутора овечки пасутся. Слышно, как на хуторе девчата «Черноморца» выводят:

Вивів мене, босую,

Та й питає:

— Чи є мороз, дівчино,

Чи не-ма-а-а-а-є-є-є?

Смотрел бы вот так и не посмотрелся... Слушал бы и не наслушался...

Так вот сидели, слушали, природой любовались.

Как вдруг местный дедок говорит:

— А в этом болоте табун диких свиней есть! И секач тут огромный-преогромный бродит.

— Мы все,—говорит Кузьма Демьянович,—аж подпрыгнули.

— Где?

— Да вот здесь, в болоте!

— Неужели?—Мы к нему.—А видел его кто-нибудь в этом болоте?

— А почему бы и не видеть? Видели! Сколько он у нас овощей на огородах да свеклы уничтожил. Я секача сам видел. Пудов пятнадцать будет, если не больше! Страшный зверь!

— Вы же понимаете,—продолжал Кузьма Демьянович,—что мы сразу решили пройтись по болоту, авось, удастся наткнуться на табун свиней. Было нас шесть человек. Решили так: я, как самый старший,—мне уже тогда на пятьдесят шестой повернуло,—пройду от оврага, в глубь камышей, и буду ждать, а остальные—с той стороны зайдут и будут идти ко мне метров через тридцать один от другого.

Загонщиков у нас, как видите, не было, мы сами, мол, и загонщики и стрелки. Дедок не пожелал с нами идти. «Боюсь»,—говорит... Пошли мы в камыш, а дедок спустился в балку: «Может, говорит, где-нибудь зайчика всполошу». Вошел я в камыш, прошел немного, остановился—осматриваюсь. В самом деле, как будто какие-то тропинки в камыше, сюда и туда ведут. Не наврал, видать, дедок, думаю... Прошел еще немного дальше в камыш, выбрал для себя что-то вроде небольшой полянки, остановился, прислушиваюсь... Ничего не слышно... Только камыш шелестит да иногда где-нибудь в сторонке зашуршит болотная крыса. И опять тихо. Долго я стоял, уже пора и товарищам подойти, а их нет как нет. Я, сказать по правде, вздремнул немного. Стою, дремлю. Как вдруг оно как зашумит в камыше, как хрюкнет, я так и подпрыгнул. Подпрыгнул и верчусь на месте, не знаю, куда удирать. А оно опять как хрюкнет! Я как махнул из камыша, так мигом возле оврага очутился... Услышал только, что и от меня что-то шмыгнуло и бросилось к речке. Куда там! Я даже не успел подумать: что оно такое? Выскочил из камыша и помчался к оврагу. А из оврага, как борзая, помчался до леса, и—на грушу! Сел, взвел курки, жду. Долго сидел—нет ничего! Наконец слышу—зовут:

— Кузьма Демьянович! Кузьма Демьянович! А-гей! Где вы? А-гей-гей!

— Я тут!—кричу.—На секача засел! На гру-уше!

— Слез-за-за-зайте!

— Не слезу!—кричу.

И в самом деле, я и хотел было слезть, да не могу. Груша высокая, старая груша, и до половины ни сучьев, ни ветвей — гладкий ствол! Как я на нее взобрался, хоть убейте, сам не пойму...

Подошли товарищи. Спустили меня с груши.

— Видели что-нибудь? — спрашиваю.

— Ничегошеньки не видели, — говорят.

— Да как же, — говорю, — не видели, если оно хрюкало, да и не раз... И шмыгнуло мимо меня! Я от него, а оно от меня. А что хрюкнуло, пускай меня бог накажет, своими ушами слышал!

— Так это вы, значит, — спрашивает Иван Петрович, — на овраг драпанули?

— Я, — говорю, — конечно, я. Потому что оно как хрюкнет, я и подумал, что секач из камыша!

— Да то я высморкался! — говорит Иван Петрович. — Только я сморкнулся, как вдруг мимо меня что-то как сиганет! Я подумал, что секач, и сам от него опрометью к речке...

Подошел к нам дедок.

Мы к нему:

— Где же ваши свиньи? Где ваш секач?

— А разве нет? — удивился дедок.

— И следу нет, — говорим.

— Выходит, нырнули!

— Куда нырнули?

— Под воду! Куда ж еще?

— Но разве ж дикие свиньи ныряют?

— Не знаю, где как, а у нас ныряют, — утверждает дедок.

— А что вы думаете? — размышляет Кузьма Демьянович. — Могло быть. Есть же морские свинки, могло быть, что и речные появились.

Вот что случилось с нами во время охоты на кабанов. Я и до сих пор не пойму: как из оврага выскочил и как на грушу взобрался? Пятьдесят же шестой год пошел! Выходит, что такая охотничья прыть бывает. Вот как секачи борзо бегают.

— Проворный зверь, — добавил Кузьма Демьянович.

Охотятся на дикого кабана с гончими или специально обученными для этого псами, но чаще всего охотятся с загонщиками.

Когда на вас выскочит дикий вепрь и вы не успели удрать, вы уж тогда, ясное дело, стреляете.

Стрелять надо обязательно пулей, целиться в голову или в сердце, бить надо наповал, потому что раненый кабан—зверь невероятно лютый: он бросается на охотника, с разгона вонзает свои страшные клыки ему прямо в пупок и с криком: «Ага, попался!»—распарывает охотника по белой линии от пупка вверх до груди. Если же кабан сам смертельно ранен, он ложится здесь же, рядом с охотником, и оба они потихоньку отдают богу душу...

Потом собираются охотники, устраивают носилки и несут и погибшего своего товарища, и дикого кабана к машине или на железнодорожную станцию.

Те, кто несет погибшего товарища, очень грустны—им жаль храброго охотника, павшего жертвой своей благородной спортивной страсти.

А те, кто несет убитого кабана, очень веселы—ибо такой охотничий трофей случается не так уж часто.

Если вы идете болотом, где обязательно есть целый табун диких свиней и где бродит огромный, не менее чем пудов на пятнадцать, секач, очень полезно бормотать нечто вроде заклинания или молитвы. Это заклинание еще в седую старину очень помогало нашим предкам-охотникам (между прочим, заклинание это полезно не только при охоте на кабанов, но и при любой охоте на любого зверя).

Вот оно:

Вы, зори-зарницы,
Ночь, темна-темница,
Замыкаешь ты хаты
И царские палаты..
Заткни зверю уши и глаза,
Чтоб я подошел да не промазал..

Если вы это заклинание прочитаете с верой, то, несомненно, сможете подойти к кабану, невзирая на то, что он зверь очень осторожный и слух у него не хуже, чем у самого талантливого дирижера симфонического оркестра.

Пользуясь вышеприведенным заклинанием, можно охотиться на дикого кабана и в одиночку, пробираясь путаньми тропками и прыгая с кочки на кочку по заросшему камышом болоту.

А вообще, повторяем еще раз, на дикого кабана охотятся с загонщиками.

Случается, и очень часто случается, что кабан, почуяв или узнав, что впереди стоят на номерах охотники с заряженными

жаканами ружьями, и не будучи абсолютно уверенным, что все они полезут на груши, делает поворот и идет на загонщиков.

Он хитрец, он знает, что у загонщиков, кроме кольев и истошных воплей, под руками ничего нет.

Случаи такие заканчиваются более или менее счастливо, обычно испугом, ибо кабан распарывает человека только тогда, когда он ранен, а так подбежит, хрюкнет, напугает и смеясь побежит дальше.

Случилось такое и с нами во время охоты на кабанов, врать не стану—случилось!

Подняли загонщики с болота несколько диких свиней и кабанов.

Те пошли на охотников.

Послышалось в той стороне «бах! бах!».

Наткнулся на них один, небольшой, так пудиков на десять, вепрь.

Стреляли там в него или не стреляли—не скажу, потому что кое-кто из охотников, чтобы лучше видно было, сидел на груше, а только он внезапно повернул и помчался на загонщиков.

Подбежал на всем скаку к одному пареньку-загонщику, и не успел тот «Спасите, кто в бога верует» прокричать, как он его прямо рылом в пупок. Опрокинул, перепрыгнул через него, хрюкнул, загоготал и помчался дальше. Подбежали мы к парню: стоит бледный-пребледный, губы белые и трясутся, ничего вымолвить не может, только:

— Хрюкнул и побежал, хрюкнул и побежал...

Потом немного опомнился.

Мы к нему:

— Ну, здорово испугался?

— Испугался, только не совсем, не окончательно испугался! Можно сильнее испугаться,—промолвил он и подался в кусты.

Так что и загонщикам, как видите, следует быть внимательными.

Убили вы дикого кабана.

И тогда наступает самый тяжелый момент охоты на диких свиней.

Это когда уже соберутся на дикого кабана к вам приятели и вам нужно убедить их, что это именно не простой, а дикий кабан.

Вы им рассказываете о своей охоте, не пропуская мельчайших подробностей: и как собирались на охоту, и как ехали, и как доехали, как в лесу или на болоте шли, где остановились, сколько было гонщиков, как кабан выскочил, как вы не растерялись, как бахнули, как он ткнулся рылом в землю, а потом опять поднялся и побежал, а вы его вторично...

Рассказывая, вы и свидетелей называете, и расплоснутую пулю калибра вашего ружья показываете...

Ну, все, буквально все доказательства того, что вы собственноручно убили дикого кабана.

Но вы видите, что ничего не помогает: все едят и хвалят кабана, только не вас!

И вы прекрасно знаете, что, возвращаясь домой, они будут хохотать:

— Дикий кабан! Нашел дураков! А кстати, почему нынче свинина?

Вот какие люди!

Неблагодарные люди!

Съели целого кабана, выпили все — так выпили, что наутро хозяйка истерически вопит:

— Ну какая это дендя (хозяйка немного знает английский) пол-литра керосину заглотала? Ну и гости! Не смей мне больше диких кабанов стрелять!

А они, приятели, идут, сытые и пьяные, домой и еще насмеются!

Нехорошо!

1946



Лиса

хотится на лису выгоднее всего зимой, когда земля натянется на себя белое-белое пуховое одеяло и заснет зимним спокойным сном.

Тогда шкурка у лисы становится густой, лоснящейся, пушистой, а мы, как известно, на лису охотимся исключительно из-за ее знаменитого меха, имеющего научное название — горжетка.

Лисицы водятся у нас в Советском Союзе на всей территории: и на полях, и на болотах, и в лесах, и в перелесках.

За все время нашей сознательной охоты нам приходилось видеть лисиц на всех вышеуказанных местах и на всех тех местах в них стрелять.

По этому поводу вы говорите дома:

— На лисиц поеду! В Сриблянском яру, говорил Иосиф Евдокимович, два выводка. Поеду, четыре-пять лисичек тарарахну, вот тогда тебе горжетка, маме горжетка, бабушке горжетка, дедушке горжетка. Это если четыре. А если пять—то и мне горжетка.

На лису идти—одеться нужно очень тепло, ведь зима, стоять приходится на гону долгонько, лиса идет большим кругом, а пока собаки ее по тому кругу гоняют, замерзнуть можно.

Следует вам знать, что зверь, когда его поднимут и погонят гончие, делает круг—и заяц, и лиса, и волк. Каждый из них, сделав круг, возвращается к тому месту, откуда его подняли,—значит, ваша задача не припускать вместе с собаками за зайцами, либо за лисой, либо за волком, а стоять на месте и ждать да следить, когда он, сделав круг, вернется в свое логово.

Собаки гонят, как известно, с лаем, и, если приближается гон, знайте, что зверь идет к вам!

Следите только зорко!

Лай приближается, приближается, приближается.

Вот мелькнула в кустах золотисто-красная, будто молния.

Бах!—и нет ничего...

Заяц делает небольшой круг, лиса—большой, а волк—тот еще больший.

Ждать иногда приходится долгонько—вот и одевайтесь теплее.

Оделись.

Вам и говорят дома:

— Ты едешь, едешь, стреляешь, стреляешь, собак кормишь, а у Анны Ивановны вон какая чернобурка! И ружья нет, и собак нет, а чернобурка—глаз не оторвешь.

— Хорошо, хорошо! Попадется, так трахну и чернобурку. Только у нас на Украине чернобурка встречается очень и очень редко! Почти никогда!

— Редко? Полным-полно в комиссионных магазинах!

— Да что ты, господь с тобой! Что ты хочешь, чтобы я с гончими в комиссионном магазине охотился за чернобурками? Хороша будет и рыжебурка!

— А песцы там есть?

— Есть!

— Белые или голубые?

— Рябенькие! Они только на дальнем севере белеют и голубеют. Так же, как и куропатки: у нас рябенькие, а на севере белые-белые, ослепительно белые! Так и песцы!

Вообще сборы на охоту за лисой весьма и весьма, как видите, сложное дело...

В коротенькой шубе, в валенках и в шапке на лисьем меху выходите вы из тепло-уютной хаты Иосифа Евдокимовича и направляетесь в Сриблянский яр, где:

— Ей-богу, аж два лисьих выводака!

Иосиф Евдокимович — старьёй, опытный охотник и давний ваш приятель, который на своем веку:

— Этих волков, этих лисиц, этих зайцев столько уж пострелял, верите, и счету им нет!

Утро. Морозец. Поскрипывает снежок. От хутора до Сриблянского лога три километра.

Выглянуло солнце. На ослепительно белом, широком — и глазом его не охватишь — одеяле запрыгали мириады бриллиантов...

Докучай и Бандит — на поводке.

Докучай идет спокойно, он уж много лет прожил, много гонял зайцев, лисиц и волков, его ничем уже не удивишь, а Бандит только вторую охоту начинает; он то рванет вперед, то повернет к вам и старается, подпрыгнув, положить передние лапы вам на грудь и снова — вперед...

Нервничает Бандит...

Рвется и так жалобно-жалобно визжит:

«Пусти, мол, дай побегать, дай натешиться! Смотри, как бело везде, как хорошо, как снег сверкает! Дай покувыркаться!»

Иосиф Евдокимович, попыхивая сигаркой, советует:

— Пустим с той стороны, от груши, чтоб против ветра. Вы проходите немного вперед от груши и становитесь в ложине, а я на ту сторону перебреду да за терном сяду. Пустите тогда, как я уже на месте буду! Я потихоньку свистну.

— Ладно!

— Да зайца не стреляйте! Лисичек сначала прихлопнем. Разве только собаки за куцехвостым увяжутся, ну, тогда уж будем бить, чтоб собак освободить!

— Хорошо...

В ложине уютно-уютно...

Утаптывается вокруг снег, чтобы удобно было во все стороны поворачиваться, ибо лисица может выскочить и отсюда, и оттуда, и спереди, и сзади...

Докучай лег и лежит у ног, а Бандит натянулся, как струна, поднял голову и нюхает, нюхает, нюхает...

Какие же запахи проникают через твои розовые ноздри, в чистопородный твой мозг, Бандит? Какие? Фиалковый ли от хвоста пышного — «трубы» хитрой лисы, или густой смрад проголодавшегося бедняги волка, или неясные запахи дрожащего во сне зайчика-побегайчика? Какие? Ляг, Бандит, успокойся!

Вы осматриваетесь вокруг...

От елочки протянулась узенькая цепочка-следок и у груши оборвалась.

Это — белочка.

Может, спит она теперь сладким сном, укрывшись в грушевом дупле листиками, и снятся ей шишки сосновые да сладкие орешки...

А вот немного дальше покатались в овраг одна за другой кругленькие ямочки и кое-где между ямочек нежнейший и легчайший по снегу «чирк».

Это лисичка с ночной охоты в овраг пошла отдыхать.

Значит, есть!

Легонький свист.

Это Иосиф Евдокимович дает знак, что он уже на месте.

Спускаю с поводка Докучая и Бандита.

— Ну, мальчики, вперед! Ни пуха ни пера!

Три минуты напряженной тишины... Пять минут... Тишина...

Вдруг истошный визг Бандита и нервно-густой бас Докучая:

— Гав!

Бандит одинаково истретически визжит — зайца ли он поднимает или лису, а Докучай, почуяв зайца, сначала дает легонькое «скаву-скаву!», а потом спокойное «гав» и дальше однообразное: «гав-гав-гав...»

Погнал, значит...

На лису Докучай первым подает «гав» более нервно и идет на нее, лая немного чаще и более высоким тембром, чем на зайца.

А Бандит и на зайца и на лису одинаково истерично:
— Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!

Погнали лису...

Ну, тут уже у вас пульс с семидесяти двух ударов подскакивает сразу на девяносто, глаза лезут на лоб, «простреливая» орешник, и ходуном ходит в руках двадцатка.

— Спокойно! — говорите вы себе. — Спокойно!

Первая горжетка идет на вас!

Метров за полсотни от вас, с легоньким треском из орешника на поляну вылетает она...

Она не бежит, а летит, красная-красная на ослепительно белом фоне, выпрямив трубу (хвост) и вытянув мордочку.

Бах! — легкий прыжок, и красного нет, — один только белый фон...

Выскакивает Докучай, за ним Бандит.

Докучай смотрит в вашу сторону, видит, что ничего нет, рывкает суровым басом и мчит дальше.

За ним Бандит.

— Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!

Покатила горжетка через овраг, и вы видите, как мелькнула белая кисточка ее хвоста в орешнике по ту сторону оврага.

Докучай чуть-чуть не на хвосте у нее сидит.

На Иосифа Евдокимовича пошла.

— Смотри, старый!

И вот: «бах!»

Дым и снежная пыль возле Иосифа Евдокимовича.

— Бей, — кричу, — старый, вторично, чтобы надежней было!

— Крепко лежит! — кричит Иосиф Евдокимович и добавляет такое, о чем я, хоть как бы вы меня ни просили, написать не могу.

Я срываюсь с места, лечу через кусты в овраг, запыхавшись, карабкаюсь на гору и подбегаю к Иосифу Евдокимовичу: «Есть?» — спрашиваю.

Он смотрит куда-то в сторону и не говорит, а стонет:

«Есть! Вон! За терном!»

Я прыгаю за терн...

Крутится Докучай и дергает левой ногой.

Я падаю в снег...

А где-то далеко, в противоположном конце оврага, Бандит
знай плачет да заливается:

— Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!

Горжетку гоняет...

Приезжаете вы домой в старой фуражке Иосифа Евдоки-
мовича, ибо лисью шапку вы потеряли. Когда через кусты
бежали...

Дома вам говорят:

— Горжетка? Чернобурка?! Была одна лисья шапка, да и
ту проохотил. И кто только эти ружья выдумал?!

— «Ладно,—думаете вы себе,—ладно! Говори! Говори! Поп-
равится Докучай—снова за горжетками поедем».

1956



I

хотнику, которому впервые в жизни прихо-
дится ехать или идти охотиться на волка, раз и навсегда
обязательно следует запомнить старую народную пословицу:

«Не бойся волка—сиди в избе».

Волк—хищник, и хищник свирепый, кровожадный, между
тем не следует его бояться.

Кондрат Калистратович Моргниоко, давний и опытный
убей-волк, так он всем рассказывал и всех учил, что
волк—зверь очень пугливый и боязливый.

— Вот послушайте,—всем говорил Кондрат Калистрато-
вич.— Живу я, как вы знаете, на хуторе и как раз на опушке.
Кошара моя стрехой аж на орешник налегает. Вот волк и
пронюхал. Продрал темной ночью под стрехой дыру в
кошаре, да и прыгнул к овечкам. Ну, в кошаре, известно,
гвалт; овцы «ме-е-е!»—да и в хлеву,—а хлев рядом,—корова

в рев! Я услышал, выскочил из хаты да опрометью в кошару. А оно, что-то серое, мимо меня под стреху—прыг! Сквозь дырку проскочить не успело, как я его за хвост, а оно, видите ли, волк. Ну, пугливый же, я вам скажу, зверь. Такая уж, извините, неприятность! Что бы вы там ни говорили, а волк—зверь крепко пугливый!

А по нашему мнению, это еще не такой сильный признак волчьей пугливости, потому что, кто его знает, какая бы неприятность вышла, если бы волк неожиданно ухватил Кондрата Калистратовича, ну не за хвост, а просто сзади... А Кондрата Калистратовича мы все знали как храброго и сильного духом человека.

И хотя волк, может, и не такой уж пугливый, все же мы еще раз говорим:

«Не бойся волка!»

Охотиться на волка—это для охотника и честь и обязанность; потому—кто же не покраснеет и глаз стыдливо не опустит, когда ему скажут:

— Сидите вы тут, сидите, охотниками называетесь, а на Вербовом хуторе вчера волки трех овец зарезали да телке левый задок отгрызли.

— А где это Вербовый хутор?

— От Зачепиловки километров не более пяти будет. Как доедете до кургана, так дорога влево пойдет; по той дороге и поезжайте. Овраг пересечете, берите вправо да вдоль оврага, вдоль оврага, никуда не сворачивая, как раз и попадете в Вербовый хутор.

— А волки разве в самом хуторе?

— Да нет, на хуторе спросите хромого Степана; он знает, где волки. Тот все на свете знает. Давний охотник, только правое не взял.

— Не в Перещепином ли это лесу?—бросает Кондрат Калистратович.

— Да, верно, что в Перещепином. Где же им больше быть, как не в Перещепином... И лесу много, и все овраги да балки. Только в Перещепином. Волков там—тьма! Закурить нет?

— Закуривайте!

— Так подождите,—снова вклинился Кондрат Калистратович.—Если в Перещепином, так зачем же нам тогда в Вербовый хутор ехать? Перещепино, оно ж возле Разлогого хутора, а Вербовый—так он же возле Кучерявой балки... Да, может, то волки из Кучерявой балки?

— Может быть! Оно, конечно, волк, конечно, зверь! Правильно! Только в Кучерявой! Густая балка и большая. Ох, и волков же там! Как завоюют—волосы дыбом!

— Тогда давайте к Вербовому подадимся! Это в Кучерявой.

— Так прямо к Вербовому и направляйтесь. Да там спросите хромого Степана, его все знают. Он вам все и расскажет и покажет. Он все знает, потому что он давний охотник, вот только правов не взял.

— Счастливо! Подсыпьте еще махорочки! Душистая махорка!

— Закуривайте!

— Спасибо. Как только овраг переедете, берите сразу над оврагом и до самого Вербового! Три овечки и телка—государству убытки какие! Нельзя терпеть, надо изничтожить. Бывайте здоровы.

II

Ну, значит, пересекли овраг, взяли вправо, да над оврагом, над оврагом, никуда не сворачивая, прямехонько в Верховый хутор.

— Трррр! Здравствуйте, бабуся!

— Здравствуйте!

— Где тут, скажите, пожалуйста, хромой Степан живет?

— Хромой Степан?

— Ага, охотник!

— Так он же теперь не охотник: он без правов! А живет он... Одна... Вторая... Третья... Четвертая... Пятая... Шестая... Седьмая... За четвертой хатой свернете в улочку. А той улочкой в самехонький двор так и въедете.

— Спасибо, бабушка!

— Только сегодня воскресенье,—наверное, его нет дома, на охоту пошел.

— Да уж как там будет!

За четвертой хаткой улочки нет. Остановились.

Бабушка кричит:

— Да куда же это вы? Проехали!

— Да это ж, бабушка, третья хата, а не четвертая!

— Смотри, а я думала четвертая. Знать, плохо вижу. И не только улицу... Я уже и нитку в иголку не вдену.

Свернули в улочку и прямехонько во двор.

- Здравствуйте, Степан! Как вас?..
- Иванович...
- Степан Иванович! Это вы охотник?
- Охотник-то я, конечно, охотник, да только не успел правов вытребовать. Без правов. Не охочусь теперь...
- Волки, говорят, тут вас одолевают?
- Нет, такого что-то не слышать! Тихо с волками, хвала богу, тихо покамест... Зайчишки, те, конечно, попадают. И частенько... Лисичку иногда подстрелишь... Бывает...
- А трех овец кто зарезал?
- Трех? Не слышал! Позавчера Секлетя, единоличница, заколола, так не овцу, а поросенка...
- А у телка кто зад отгрыз?
- Что вы, товарищ? Это же вранье, поверьте на совесть, вранье. Десятый год я старшим коровником. Если кто даже ударит, строго взыскиваю, а не то чтоб целые зады отгрызть... Интересно, кто же это подкапывается?!
- Да нет. Мы, Степан Иванович, о волках!
- Какие там волки, если у меня по две тысячи литров на фуражную корову, а они— «зады отгрызать». Пусть снимают, ежели не верят!
- Растолковываем в конце концов, в чем дело, и Степан Иванович успокаивается.
- Так у вас о волках, значит, не слышать? А так поблизости где-нибудь?
- Говорили, будто воют километрах в пятнадцати отсюда в Поповском. И что действительно кому-то зад отхватили... Не знаю только кому: то ли телке, то ли кому другому...

III

— Поедем, товарищи, в Поповское! Может, там и в самом деле что-нибудь организуем,— говорит Кондрат Калистратович.— Там такие, правда, бывали облавы на волков и там-то вот и есть настоящий охотник, который и флажки имеет, и сможет собрать хлопатьщиков-загонщиков, и знает, где поставить на номера. А я, как специалист в этом деле, научу вас, как идти на волков облавой.

— Поехали! Забились в такую даль—так уж поедем. Сегодня, может, не успеем, ну что же, останемся, завтра и поохотимся.

Поехали.

Кондрат Калистратович, сам давний убей-волк, рассказывает о волчьей облаве.

— Ох, и интересная это штука, товарищи, облава на волка. Волк залегает на день в густой чаще и лежит там до ночи и только ночью выходит отгрызать телкам зады, резать овечек и жеребят. Опытный охотник уже заранее знает, где они есть, поэтому прислушивается к их вою, а то и сам завоет по-волчьи, вызовет их на ответ, чтобы наверняка знать, где именно они лежат. Когда все это уже изучено, то назначается облава. Съезжаются охотники, заранее извещаются загонщики, с двух сторон то место обтягивается шнурком с привязанными к нему флажками. С одной стороны, где нет флажков, расставляются по номерам охотники, а напротив, издалека, заходят загонщики, запускаются, если есть, собаки... Зверь пойдет на охотников, в сторону он не побежит—боится флажков... Вот, значит, обложили, стали. Загонщики ожидают сигнала, когда начинать... В лесу тихо-тихо... Иногда только веточка треснет, упадет с елки, тук—тукнет дятел... Вы стоите и прочесываете взором всю территорию, где тропинка, где полянка, чтобы заранее знать, как бить волка, когда он пойдет или прямо на вас, или, может, немного вправо или влево. Вы же знаете, что и справа и слева на номерах ваши товарищи-охотники. Значит—не допускать его на их территорию, а чтобы волк был ваш! И только ваш! Вот начался гон. Крик, шум, гам. Где-то трещит орешник, лают собаки, стреляет старшина загонщиков... Не лес там у загонщиков, а сущий ад: «А-ла-ла! Тю! Го-го! Ух! Та-ра-ра-ра!» Ад этот идет на вас. Тут уж держитесь. Тут уж каждый треск ветки—это треск всех ваших нервов. Падение шишки с елки—атомная бомба. Прыжок зайца—минимум прыжок жирафа. Лисица—тигр. А вы же зайцев и лисиц не стреляете. Упаси боже. Тягчайшее преступление—на волчьей охоте стрелять во что-нибудь иное, кроме волка. И вот наконец идет он. Я его, товарищи, не только глазами узнаю, я его движения за сто метров знаю, я его чую всем существом. И вот между кустами—мельк!—серое. Раз на меня—считайте, что волка нет. С первого выстрела. А там еще выстрел... А какой-нибудь ротозей так и не заметит. А кое-кто, заметив волка,—на грушу. Бывает и такое. А кое-кто и собаку вместо волка стукнет. Бывает и такое. Приближаются гончики.

- Сколько взяли?
- Троиш!
- Сколько прошло?
- Два!
- Эх вы! Как же это вы зевнули!

И тут вот на опушке заводят разговоры о прошлых облавах.

- А тогда, помню...
- А тогда...
- А как-то раз...

Да что там говорить...

Кондрат Калистратович даже упрел, рассказывая о волчьей облаве. Глаза его сверкают, горят... Покраснел весь. Слушатели зачарованы...

IV

Едете, значит, вы на Поповское.

По обе стороны дороги, далеко-далеко, сколько охватишь взором, закурчавились зеленые всходы колхозной озимой пшеницы.

А за зелеными полями, на пригорках, чернеет, словно вороново крыло, колхозная зябь...

И вот мчит с горы воз. Кобылка летит галопом. На возу стоит гражданин, картуз у него набекрень, в левой руке вожжи, а в правой—кнут, угрожающе нависший над кобылкой:

— Н-н-н-о! Н-н-н-о!

— Куда летишь, дядька?

— Волк!

— Где?

— Вон там, на горе, на пшенице! Охотится на мышей! Н-н-н-о!

Кондрат Калистратович, как старьй и опытный убей-волк, резюмирует:

— Ничего удивительного нет! Может быть! Старые волки, обозленные, которые ничего не боятся, иногда и днем выходят поискать мышек в поле. Бывает. Дерни, Петр, лошадей, может, и впрямь увидим...

Бегом взбираетесь на гору. Справа от дороги пшеница по склону пошла к речушке. За речушкой—небольшой хуторок, утонувший в вербах.

— Вон!—аж вскрикивает Кондрат Калистратович.

И правда, посреди огромного поля озимой пшеницы стоит серый зверь. Он наклонил голову и, кажется, что-то вынюхивает. Потом лапой начинает грести землю.

— Ребята! — шепчет Кондрат Калистратович. — Один прыгай тут и, пригнувшись, — к речке... Другой прыгнет немного дальше. Вы, Петр Иванович, станете там, за бугорком, а я спущусь вон к той вербочке. Осторожно сходитесь и гоните его на меня. А я не промажу. А ты, Петр, поезжай себе потихоньку по дороге да пой, чтобы он на тебя поглядывал. Пошли.

Все, пригнувшись, как приказал старый и опытный убейволк Кондрат Калистратович, разбегаются и начинают окружать зверя. Зверь, должно быть, не очень пугливый, бывалый зверь, не видать, чтобы очень нервничал. Увидев, что к нему приближаются люди, он потихоньку стал отступать, и только тогда, когда горячий Петр Иванович, не выдержав, побежал за ним, легким скоком подался в направлении хуторка, прямехонько на Кондрата Калистратовича.

Подпустив зверя метров на пятьдесят, Кондрат Калистратович выстрелил.

Зверь лихо зааяйкал, подпрыгнул и ударился оземь.

Кондрат Калистратович вторично его...

Вдруг из садика, что за крайним домом, раздался душераздирающий крик:

— Папа! Нашу сучку убили!

И на выстрелы и на крик выбегает человек пять хуторян...

Тут разрешите минут на пять прервать рассказ...

А через пять минут уже все было ясно:

— Пятьдесят и не меньше!

Сошлись на тридцати.

— Да заберите семерых щенят,—мне их кормить нечем.

Отъехав от хутора, Кондрат Калистратович говорит:

— Ничего удивительного нет, что волк и днем выходит в поле за добычей...

А подумав немного будто уже самому себе, добавил:

— Только-то был без щенят.



Бенгальский тигр

тобы охотиться на бенгальского тигра, нужно ехать в Бенгалию, ибо это не простой тигр, как видите, а бенгальский.

Почему нас интересует именно бенгальский тигр? Да потому, что бенгальский тигр—самый крупный из всех тигров на свете: его длина—два с половиной—три метра, один хвост у него длиной восемьдесят—девяносто пять сантиметров. Так что если вам не удастся заповалить всего тигра, а отбить у него только хвост, то и тогда вы все-таки «имеете вещь».

— Где Бенгалия?

На Бенгалию из Киева надо ехать так.

Как только минете Васильков, Мотовиловку и Фастов,—берите не на Бердичев, а на Жмеринку. Потом на Вапнярку, Раздельную и доезжайте до Одессы. Из Одессы на Дарданеллы, потом на Суэцкий канал, оттуда уже не так далеко до Индии.

Приехав в Индию, спросите, как вам пройти на Брамапутру.

Верно, слово «Брамапутра» трудное для произношения, но вы еще на пароходе почаще повторяйте его про себя, чтобы научиться произносить, а то с вами произойдет то же, что и с Данилом Кондратьевичем, который приехал в Индию и спросил:

— Где тут Путрамабра?

Никто из индусов, понятное дело, ему на это не мог ничего ответить. Так он, бедняга, и вернулся домой без тигра.

Брамапутра—вы это и сами, положим, знаете—река в Бенгалии.

Когда вы до нее дойдете, там неподалеку течет еще одна река—Ганг, так вот между Брамапутрой и Гангом,

в джунглях, больше всего водятся бенгальских, или, как их называют, королевских, тигров.

Вот там и охотьтесь на них.

Перед охотой, имейте в виду, вам нужно будет перебить вокруг себя всех кобр и всех гремучих змей, чтобы случайно какая-нибудь из них не укусила вас, а также переболеть тропической малярией—желтой или бурой—какая кому нравится,—а потом и охотиться.

Хлеба с собой берите только на дорогу, пока до Бенгалии доедете, а в Бенгалии—там на каждом шагу, как у нас бузина, растет хлебное дерево, круглый год на нем растут плоды, ну, как наши кнъши.

На тигра, как вы знаете, охотятся для того, чтобы истреблять этого страшного зверя, который наводит ужас на всю округу, нападая на скот и даже на человека.

Охотятся на него и для того, чтобы иметь огромную прекрасную шкуру, полосатую и мягкую, которая так украшает собой кабинет храброго охотника.

А еще охотятся, чтобы добыть огромные и страшные тигровые когти. Их высушивают, растирают в порошок и пьют тот порошок для храбрости.

Восточные народы глубоко верят в чудодейственную силу порошков из тигровых когтей и платят за них большие деньги.

Если выпить, говорят, один такой порошок, можно уничтожить массу тигров.

Одно скверно: чтобы иметь такой порошок, нужно, выходит, убить тигра, а чтобы убить тигра, выходит, нужно выпить порошок.

Ну, ничего, будучи от природы хоть и не очень, так сказать, храбрым, но и не совсем, так сказать, трусливым, на первой тигровой охоте обойдемся без порошков, потому что, как доказали последние исследования порошков из тигровых когтей, влияние их на человеческий организм сильно закрепляющее.

А от этого и храбрость!

Ну, что ж, если нет, так нет!

А в некоторых случаях при охоте на тигра такие порошки, как вы сами увидите, могут даже повредить.

Есть несколько способов охоты на тигра.

Есть способ с фанерой и молотком, о котором мне рассказывал один из опытных охотников на тигров.

Заключается он вот в чем.

Вы берете лист фанеры, приблизительно с метр в квадрате, и небольшой молоток.

Едете в джунгли между Брамапутрой и Гангом и, чтобы привлечь к себе внимание бенгальского тигра, во весь голос поете:

Да не жалко мне,
Да никого,
Только жалко мне
Да отца своего...

Тигр услышит, и уже не вы за ним, а он за вами начнет охотиться.

Тут уж вы будьте внимательны и бдительны, чтобы не проворонить тот момент, когда тигр припадет к земле и, яростно избивая себя хвостом по бокам, приготовится прыгнуть, чтобы сделать из вас закуску перед антилопой.

Как только он прыгнет, вы вдруг повернитесь к нему и выставляйте фанеру.

Тигр ударит всеми четырьмя лапами в фанеру и страшными своими когтями пробьет ее.

Вот тут вы тоже ворон не ловите, сразу же быстро-быстро бейте молотком по когтям и загибайте их, пристукивая к фанере.

И все!

Пригвожденный к фанере тигр уже не страшный зверь, а беспомощный котенок.

Вы тогда можете с него с живого шкуру содрать, или, ударив кинжалом в сердце, покончить с ним, а потом уже свежевать.

Имейте только в виду, что бить тигра по когтям, загибая их к фанере, нужно все-таки осторожно, чтобы не повредить когтей, а то ведь знаете, какая это ценная вещь и что из нее вырабатываются храбрые порошки.

Некоторые охотники, нервничая, забываются и колошматят по когтям изо всех сил, портят их и лишаются вследствие этого ценного материала.

Весьма распространен и, надо сказать, довольно неплохой способ охотиться на тигра со слоном.

Этим способом охотятся на тигров индийские раджи и английские лорды, приезжающие в гости к индийским раджам, а те уже угощают их, своих дорогих гостей, охотой на тигров.

Перед этим индийские раджи заблаговременно заманивают в определенное место тигров, ставя на протяжении нескольких недель приманку из не совсем еще умерших, но уже не приспособленных к работе туземцев.

Когда английские лорды приезжают к индийским раджам в гости, и, увидев, как ведут туземца на приманку, они делают тому туземцу ручкой и милостиво говорят:

— Гуд бай!

Тигры, между прочим, идут на приманку, состоящую не только из туземцев, но также из скота: из коров, свиней, овец и т. д.

Итак, тигров заманили.

Тогда приводят прирученных слонов, седлают их такими вроде шалашами, но сплетенными не из орешника и ушитыми не соломой (английские лорды и индийские раджи таких шалашей не любят), а сделаны те шалаши из слоновой кости и парчи...

В те шалаши грузят сначала виски, беф, пудинги и шампанское, а потом уже английских лордов, индийских раджей и камердинеров.

Ну, лорды и раджи едут, пьют виски и шампанское, едят бефы и пудинги, а туземцы гонят на них тигров.

Как только шмыгнет между лианами бенгальский тигр, английский лорд говорит индийскому радже:

— Подержи-ка мой пудинг, я его потом доем!

А затем к камердинеру:

— Подай ружье!

Камердинер подает ружье, английский лорд стреляет в то место, куда прошмыгнул тигр.

Звучит выстрел, за ним звучит отчаяннейший крик, и туземец, гоняющий зверя на высокопоставленных охотников в шалашах, падает замертво.

Английский лорд удовлетворенно усмехается и говорит:

— Йес!

И доедает пудинг.

Затем охота идет в таком порядке: туземцы убивают тигров, снимают с них шкуры, английские лорды везут те шкуры домой, там их соответственно обрабатывают, прививают к голове золотую дощечку с выгравированной надписью:

КОРОЛЕВСКИЙ ТИГР

Убил в Бенгалии (дата)

собственноручно лорд Сесиль-Кисиль.

А потом уже в палате лордов...

Нет! Стоп-стоп-стоп! Никакой политики мы касаться не будем, а то еще допишешься до того, что лорд Сесиль-Кисиль подает в палату лордов билль о том, что нужно из Бенгалии вывезти побольше скота и пшеницы.

Стоп! Ни слова о политике!

Таков, значит, способ охотиться на тигров со слонами¹.

Мы с вами, слава тебе господи, и не лорды английские и не раджи индийские, так что нам с вами такую хищную охоту на тигров организовать трудно.

Можно, конечно, взять напрокат слона в зоологическом саду или в цирке, но много с ними возни, пока его до Бенгалии довезешь да пока научишься им управлять с помощью молоточка с гвоздиком.

Там, в Бенгалии, одолжить слона у какого-нибудь раджи тоже вряд ли удастся, ведь вы же, слава богу, не английский лорд.

Одним словом, хлопотный для нас с вами такой способ охотиться на тигров.

Однако его нам, как охотникам, знать необходимо.

Для того и пишем.

* * *

Неплох и такой еще способ.

Выкапывается огромная и глубокая яма на тропинке, по которой тигры ходят к Брамапутре пить воду.

Сверху та яма хорошо маскируется всякими ветками, лианами, тропическими папоротниками и прочим.

Тигры идут пить воду вечером, когда уже смеркается. На это время вы и залезайте в ту яму.

¹ Этот способ охоты нынче устарел. И Индия теперь не та, и раджи теперь не такие! (Прим. перев.)

Залезли и сидите тихо-тихо.

Ни курить, ни чихать, ни кашлять нельзя, а то испугаете тигра.

Вот идет тигр.

Он не совсем еще очнулся после сна, потягивается, зевает, чешет за ухом.

Ну, и не заметит, как бултыхнется в яму!

Вы сразу же набрасывайтесь на него и щекочите.

Тигры страшно щекотки боятся! (Поэтому-то, между прочим, они очень ревнивы.)

Как только вы его схватили обеими руками под мышки, он сразу начинает ужасно хохотать.

Но вы не выпускайте его, а то, боже вас сохрани, съест!

Щекочите, щекочите и щекочите.

Хохоча, он будет кататься по яме, и вы катайтесь вместе с ним. До тех пор, пока он не крикнет:

— Ой, не могу! Пусти!

И ляжет, обессиленный.

Но вы еще с полчаса пощекочите, тогда отпускайте.

Готов!

Защекоченный тигр мертвее мертвого.

* * *

Еще об одном способе охоты на тигров хочется мне рассказать.

Он тоже несколько хлопотливый, но для нас с вами доступный.

Хлопотливый он именно тем, что прежде чем его применить, нужна тренировка в перегонах на большой дистанции.

Немало времени надо потратить, чтобы вы могли прытко и долго бежать, все время оглядываясь.

Но никто же нам с вами не запретит тренироваться месяца три ежедневно по три-четыре часа, бегая сначала хотя бы на одном из киевских стадионов, а потом по пересеченной местности.

Наоборот, все подумают, что вы готовитесь к физкультурной спартакиаде, и все будут вас приветствовать.

Хорошо на такую тренировку брать вашу собаку, лучше борзую, если борзой нет, тогда гончую, но можно и овчарку, только чтобы быстрая была.

Когда вы в своих упражнениях дойдете уже до такого положения, что будете опережать овчарку, тогда можно ехать в Бенгалию на тигра.

Порошки из тигровых когтей принимать при этом способе охоты категорически не следует, ведь, как вы знаете, порошки эти закрепляющие, придают охотнику храбрости, а тут нужна не храбрость, а наоборот.

Тут необходима легонькая пугливость, при которой намного увеличивается скорость вашего аллюра.

Приезжаете вы в Бенгалию, находите тигра, показываетесь ему, он сразу же начнет охотиться за вами.

Вы это знаете, но не расстраиваетесь и сознательно ведете его за собой на заранее намеченную вами полянку.

Между Брамапутрой и Гангом попадают огромные куски степи, где пасутся жирафы, антилопы, носороги и другие травоядные животные.

Вот туда вы тигра и ведите.

Из оружия вы имеете при себе только кинжал, и больше ничего.

Пока вы ведете тигра на поляну, он уже будет нервничать, буйствовать, зубами щелкать и вот-вот прыгнет, вот-вот прыгнет.

Выйдя на поляну, сразу же бегите...

Тигр, разумеется, за вами...

Вот тут-то и пригодится ваша тренировка...

Вы бежите и частенько озираетесь, поглядываете на тигра.

Это не только для того, чтобы знать, не нагоняет ли он вас, главное тут — не проворонить, когда он поскользнется.

А поскользнется он обязательно.

Как бы ни была суха степь, все равно настанет момент, когда он выдохнется и упадет.

Тогда вы сразу на него и кинжалом ему в сердце.

Тигр — ваш!

* * *

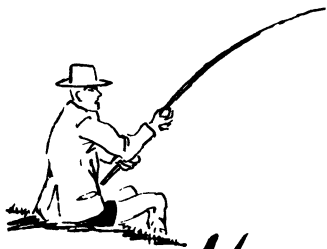
Охота на тигра, как видите, опасная и хлопотливая.

А самое трудное в ней то, что заполевать бенгальского тигра можно только в Бенгалии, а туда очень далеко ехать.

Будем надеяться, что со временем или Бенгалия к нам приблизится, или мы приблизимся к Бенгалии: ведь климат, как замечают теперь опытные географы, меняется.

Вот тогда мы и поохотимся!

И будем уже заранее знать все способы охоты на тигра, с какими мы вас и познакомили!



Карп по-немецки *

МЫ сошлись с ним, потому что оба мы рыболовы.

Мы любим сидеть вдвоем с удочками над озером, смотреть на поплавки и думать каждый о своем или потихоньку, не пугая рыбы, рассказывать друг другу всякие приключения из жизни рыболовов.

Вы ведь знаете, что ничто так не роднит людей, как охота и рыбная ловля.

Два рыбака или два охотника никогда не почувствуют себя чужими друг другу: у них есть о чем говорить, они — всегда друзья.

Кроме того, оказалось, что у меня с ним много общих черт.

Он «ходит» с моноклем, а я в брюках.

Он — директор какой-то крупной торговой немецкой фирмы, а у меня внук будет директором кирпичного завода.

Он приезжает отдыхать в санаторий ежегодно по два раза, а я за всю свою жизнь приехал в первый раз.

Вот так сидим и разговариваем потихоньку.

Он мне рассказывает, и я ему рассказываю что-то вполне аналогичное.

Как всегда между рыболовами: если один поймал карпа в один пуд двадцать шесть фунтов, то и у другого будет точно такой же самый карп. Может, разве на два — три с половиной фунта тяжелее или легче.

Рассказывает он мне, что на солидную рыбную ловлю он ездит на Рейн. Вот там — рыба!

А я говорю, что тоже езжу на Карачевку, на Уды.

Он ловит форель в горных речках Шварцвальда, а я ловлю верховодок в Васищеве.

* Этот рассказ был написан после поездки автора на лечение в Германию.

Он с увлечением знакомит меня с ловлей форели.

— Надеваешь,— говорит,— резиновые высокие сапоги, чтобы ноги не промокли, стоишь в воде и удишь. Раз попалась форель на двадцать семь фунтов! Четыре часа возился, а все-таки вытащил!

— И со мной,— говорю,— такие случаи бывают. Сбрасываешь штаны, чтобы штаны не промокли, лезешь в Уды по пояс и удишь. Раз попалась,— говорю,— верховодка в двадцать семь с половиной фунтов. В воду втащила!

— Очень интересна,— продолжает он,— рыбная ловля в Швейцарии на Цюрихском озере.

— Не менее интересна,— я ему рассказываю,— рыбная ловля в Покотиловке.

— В Цюрихском озере,— говорит он,— есть огромные королевские карпы. Цу гроссе фиш!¹. О!

— И у нас,— говорю,— в Харькове есть один Фиш, кассиром служит в редакции. Цу! Цу! — говорю,— гроссе Фиш. Насилу в кассу влезает.

* * *

Вот так сидим и перебрасываемся словами.

Ловится большей частью одна мелюзга. Окунек там, плотвичка, краснопер.

Вытаскиваем десятка два и несем санаторным свиньям.

Страсть как свиньи свежую рыбу любят!

Я и директор такими приятелями со свиньями стали: только лишь подойдешь к свинарнику, они приветливо хрюкают.

* * *

Однажды с зонабенд на зонтаг² сидим, удим.

Смотрю, подплывает ко мне стая карпов, штук пятнадцать. И порядочных карпов. Прямо-таки больших.

Я за удочку — и между ними потихоньку забросил. Один и схватил червяка.

Эх, как я дернул! Удилище вдвое согнулось!

Я даже весь задрожал. А карп, вижу, взялся хорошо.

Удочка хоть и не на карпов, но крепкая, такая, что при ужении вытащить можно.

¹ Очень большая рыба! (нем.)

² По-нашему — с субботы на воскресенье.— О. В.

больные лежат на лежаках у озера.

Сбежались посмотреть на это чудо. Целая ярмарка!

Один это советует, другой — то.

— Вот так тащите!

— Да нет, вот как!

— Ох! Ах! Ах! Ох!

Хватают за удочку. Каждый норовит вытащить.

А тут у самого «неррррвы не выдерживают».

Рассердился я.

— Граждане, — крикнул, — а не знаете ли вы анекдота на «чи»?

— Вас ист дас «чи»?

— Дас ист, — говорю, — чи не пойдете ли вы... отсюда?

А то, — говорю, — удочка треснет — и карпа «Митькой звали»!

— Вас ист дас «Митька»?

— Дас ист, — говорю, — такой Митька, что фигу собачью буду иметь, а не карпа! Уходите!

— Вас?

— А боже мой! Не лезьте, — говорю, — а то, ей-богу, удилицем, этой вот палкой, отколочу! А еще культурные! Да знаете, какой это момент у рыболова? Да это такой, — говорю, — момент, что наш рыбак вас бы уже всех в самые поднебесные канцелярии разослал. Я с вами еще по-хорошему! Аveck!

Замолчали.

Начал я выуживать, подвел к берегу — раз! Есть!

Выбросил на берег. Карпище фунтов на десять.

Как подняли меня все на «гох».

— Гох! Гох! Гох!

Я кланяюсь на все стороны.

Торжественно понесли карпа на кухню.

Я был героем дня.

На другой день подали мне «рехнунг»¹.

Я должен уплатить за пойманного карпа двадцать марок!

А карпа съел директор. Мне рыбы есть нельзя.

Чтоб он сдох! Карп!

¹ По-нашему — счет. — О.В.

СОДЕРЖАНИЕ

Жизнь и творчество Остапа Вишни. <i>Ф. Макивчук</i>	3
---	---

ВОТ ТАК И ПИШУ

Сельские зарисовки, юморески и фельетоны

Моя автобиография. <i>Перевод Е. Весенина</i>	13
Вот задача! <i>Перевод Е. Весенина</i>	18
Так ни черта и не выпло. <i>Перевод Е. Весенина</i>	21

Атеистические и бытовые юморески

Сотворение мира. <i>Перевод А. и З. Островских</i>	24
Дела небесные. <i>Перевод Е. Весенина</i>	27
Страшный суд. <i>Перевод А. и З. Островских</i>	31
«Гипно-баба». <i>Перевод А. и З. Островских</i>	33

Рассказы о прошлом, настоящем и будущем

Земля — Луна — Марс. <i>Перевод Е. Весенина</i>	36
Первое путешествие. <i>Перевод Е. Весенина</i>	38
Дед Матвей. <i>Перевод И. Собчука</i>	42

Рассказы о нравах доморощенных

«Нравстинная работа». <i>Перевод Е. Весенина</i>	50
--	----

Политические памфлеты

Великомученик Остап Вишня. <i>Перевод Т. Стах</i>	54
Прошлое и настоящее. <i>Перевод И. Кузьминой</i>	58
«На пятке перстень». <i>Перевод Т. Стах</i>	60

Усмешки колхозные

Дылда. <i>Перевод Ф. Кравченко</i>	63
Кочевники. <i>Перевод Т. Стах</i>	66
Несчастливая любовь. <i>Перевод А. и З. Островских</i>	69
Дедов прогноз. <i>Перевод Ф. Кравченко</i>	74
Про механизацию. <i>Перевод А. и З. Островских</i>	77
Упрямая Маня. <i>Перевод Ф. Кравченко</i>	83
Гибель карьеры. <i>Перевод Е. Весенина</i>	85
Сорняк. <i>Перевод Е. Весенина</i>	88
Думало. <i>Перевод Е. Весенина</i>	92
В ночь под Новый год. <i>Перевод Е. Весенина</i>	95
Ох, и Матрена же Карповна. <i>Перевод Ф. Кравченко</i>	98
Тяжелая болезнь. <i>Перевод Е. Весенина</i>	104
Дедушки наши и бабушки наши. <i>Перевод Т. Стах</i>	106
«Зоре моя, Вечірняя...». <i>Перевод Ф. Кравченко</i>	109

Бытовые улыбки

Звонари. Перевод Е. Весенина	113
«Чудило». Перевод Е. Весенина	117

Немного о войне

Зенитка. Перевод А. и З. Островских	119
«Блиц-криг». Перевод Т. Стах	123
Доисторический инструмент. Перевод Т. Стах	124

Городские «репьяши»

Наша Москва. Перевод Е. Весенина	127
Львов. Перевод И. Кузьминой	132
«Судьба». Перевод И. Кузьминой	134
Шутки шутками... Перевод Б. Силина	138
Космическая катастрофа. Перевод Е. Весенина	140
«Расти, расти ты, клен-дерево!» Перевод Ф. Кравченко	144

Воспоминания

Вот так и пишу. Перевод С. Швецова	147
Всю жизнь с Гоголем. Перевод Л. Ленча	161

Послевоенные памфлеты

«Верно ли, что путем распространения коммунизма Россия пытается подчинить себе мир?». Перевод Е. Весенина	169
--	-----

Рассказы детям и о детях

Педагогическая проза. Перевод Е. Весенина	173
Первый диктант. Перевод Е. Весенина	178
«От бузины до колодца». Перевод Е. Весенина	182

Охотничьи рассказы

«Ни пера, ни пуха!...» Перевод Е. Весенина	190
Открытие охоты. Перевод П. Карабана	192
Как варить суп из дикой утки. Перевод П. Карабана	196
«Ружжо». Перевод Е. Весенина	199
Бекас. Перевод Ф. Кравченко	209
Вальдшнеп. Перевод Ф. Кравченко	215
Дикая коза. Перевод Ф. Кравченко	219
Дикий кабан, или вепрь. Перевод Ф. Кравченко	225
Лиса. Перевод И. Карабутенко	232
Волк. Перевод И. Карабутенко	237
Бенгальский тигр. Перевод Е. Весенина	244
Карп по-немецки. Перевод Е. Весенина	251

84 Укр.
В 55

Вишня О.

В 55 Вот так и пишу; Пер. с укр. /Вступ. ст. Ф.Макивчука; Ил. Ю.Копылова.—М.: Правда, 1984.— 256 с., ил.

В книге «Вот так и пишу» известного украинского советского писателя-сатирика Остапа Вишни (1889—1956) собраны рассказы, фельетоны и юморески, высмеивающие мещан, подхалимов, бюрократов, бездельников.

В 4702590000—739
080(02)—84 739—84

84 Укр.

Текст печатается по изданию: О.Вишня. Избр. произведения в 3-х томах. М.: Правда, 1967.

© Издательство «Правда», 1984. Иллюстрации.

Остап ВИШНЯ ВОТ ТАК И ПИШУ

Редактор Г. Ф. Дыченкова

Оформление Ю. Ф. Копылова

Художественный редактор Е. М. Борисова

Технический редактор В. С. Пашкова

ИБ 739

Сдано в набор 04.11.83 Подписано к печати 23.05.84
Формат 60×84^{1/16}. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Эксельсиор».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,88. Усл. кр.-отт. 15,35. Уч.-изд. л. 13,83.
Тираж 500 000 экз. (1-й завод 1—250 000 экз.) Цена 1 р. 20 к.

Набор и фотоформы изготовлены
в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типографии газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
125865. ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства ЦК Компартии
Латвии, 226081, Рига, ул. Баласта дамбис, 3
Заказ № 411.

Тираж 500 000 экз. (2-й завод 250 001—500 000 экз.)

